

АЛЕКСАНДР ШАРОВ

СМЕРТЬ И ВОСКРЕШЕНИЕ А.М. БУТОВА

(Происшествие на Новом кладбище)



ArsisBooks 

Москва
2014

УДК 882-31
ББК 84(2Рос-Рус)6
Ш26

*Издано при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»*

Художник
Александр Смирнов

Шаров А.
Смерть и воскрешение А. М. Бутова (Происшествие на Новом кладбище). Роман/ – Шаров Александр – М.: ООО ArsisBooks, 2014. – 204 с.

ISBN 978-5-904155-32-2

Роман замечательного советского писателя – прозаика, фантаста, сказочника – Александра Шарова «Смерть и воскрешение А.М. Бутова» никогда ранее не публиковался.

Лирический роман-притча, он подводит итог и жизни героя, и жизни его поколения, и жизни страны. Начинаясь с конца – со смерти героя – он уводит нас во времена сталинских «чисток», а затем, через Великую Отечественную войну – к середине 80-х годов XX века. Творчество, любовь, предательство, армейская дружба, семья – все это было в жизни Александра Бутова. Сон, явь и фантастика свернулись в книге в тугую клубок. Только любовь и творчество, уверен писатель, способны подарить человеку бессмертие, то, которое у него уже никакая сила не посмеет отнять. Осуществиться можно и после смерти, говорит Александр Шаров, и выход новой книги – тому подтверждение. Роман был закончен за несколько дней до внезапной кончины автора, во многом став итогом его писательской биографии.

ISBN 978-5-904155-32-2

УДК 882-31
ББК 84(2Рос-Рус)6
Ш26

© Шаров А., 1985
© Смирнов А., 2014
© Издание ArsisBooks, 2014
© Дизайн-макет ООО «ArsisBooks», 2014

АЛЕКСАНДР ШАРОВ

СМЕРТЬ И ВОСКРЕШЕНИЕ

А.М. БУТОВА

(Происшествие на Новом кладбище)

Роман

1.

Бутов лежал на недавно открытом в Т. Втором городском кладбище, которое пока так просто и именовалось: «Новое». Покойников было еще очень мало, а на участке Бутова и совсем никого. Этот его участок был временно ограничен лишь четырьмя колышками с протянутой между ними серой бечевкой.

Участок был квадратный, довольно просторный: рыжие кочки в жесткой увядшей траве, поднимающиеся над стылыми лужами. Дальше во все стороны точно такие же квадраты, ограниченные единственно колышками и бечевкой. Только на одном успели воздвигнуть большой черный крест на каменном надгробье. А там — снова плоская земля, узенькие дорожки между участками, полузалитые водой, на горизонте серо-бурый дощатый забор. Места незавидные — должно быть, поэтому их и определили под кладбище.

— И правильно, — вяло подумал он.

Мысли ворочались тяжело, скучно, как бывает, если наглотаешься снотворного, но сон тебя не взял. Такое состояние тянулось ровно и однообразно с того момента, когда ужасная боль в сердце разом оборвалась и Бутов вначале подумал: «Вот хорошо!», но не обрадовался и по отсутствию радости — горя тоже не было, — догадался: «Да ведь я умер, преставился, как говорится».

А потом он ничего не видел, не чувствовал и очнулся только на третий день; это он понял, потому что там,

далеко, в месте, которое еще несколько дней назад он называл «домом», там, в другом, живом измерении, на столе в бывшей его комнате стояли закуски; приходили гости, суетилась жена, и по общему разговору можно было понять, что готовятся отмечать «третины».

Это все Бутов как-то так ощущал; он многое как-то ощущал, видел и слышал сквозь землю, иногда на огромном даже расстоянии.

В гроб влага не просачивалась. От хорошо пригнанных досок сухо пахло смолой. «Если бы что другое, следовало бы «знак качества», — подумал он. Вообще, он все время что-то думал, без малейшего перерыва, но по-иному, чем раньше: если в голову приходило веселое, веселья не ощущалось, печальное — и печальное оставалось вовне. Думать так было непривычно и утомительно. «Все оттого, что я умер, — понял Бутов. — Интересно, сколько же это будет продолжаться? Вечность? Страшно, если вечность».

Он только сказал себе: «страшно», — но и страха настоящего не ощутил.

Быстро темнело. Вдали, сквозь землю, четко, как сквозь пустоту, он увидел небольшую группку, неторопливо, часто останавливаясь, приближающуюся к его участку. Без любопытства разглядел несуразно высокого человека в странном снежно-белом плаще, несколько горбящемся на спине. Голова у него была удлиненной формы; впрочем, слово «лошадиная» к ней не подходило. Несмотря на промозглое время, высокий был без шапки, вокруг лба во все стороны торчала седая шевелюра, промытая, должно быть, каким-то заграничным шампунем, так что тоже белела, как плащ, и светилась.

«Главный», — догадался Бутов.

За высоким почти вплотную шел поменьше ростом в таком же белом плаще со светящейся, хотя и замет-

но слабее, седой головой; Бутов про себя назвал его — «Маленький».

Замыкал группку некто плотный в добротной дубленке с рыжим цигейковым воротником и в такой же цигейковой шапке пирожком. Он показался знакомым, и вид его вызвал у Бутова горечь, досаду, а больше всего — страх.

— Точно! — сказал этот третий, очевидно, отвечая на вопрос Главного, — план не тянем. Покойник ловчит пробиться на старые места: то да се, а в корне единственно косность. Ничего, сами повалят, никуда не денутся.

Голос у него был громкий, гулкий, с наглечой.

Группка остановилась не очень далеко. Плотный в цигейковой шапке шагнул вперед и, круто повернувшись к Главному, доложил:

— Участок номер такой-то. Наличествуют двое: Холопова, Анфиса Семеновна, девица, служащая, пятидесяти семи лет; захоронена 7 января 19 XX года. Порунко, Роман Борисович, сорока двух лет, захоронен вчерашнего дня. Свежак!

Главный при последнем слове поморщился, но плотный в цигейковой шапке, повторил даже погромче:

— Свежак. Троюродный брат, седьмая вода на киселе, однако на даровой участок явился — не запылится.

— Жалобы, вопросы, просьбы? — скороговоркой спросил Маленький.

Из-под земли раздалось невнятное бормотанье.

— Рассмотрим, — пробормотал в ответ Маленький, что-то записывая в толстый блокнот.

Подул ветер, и тоненькие прутики посадок вдоль тропинок, прежде невидимые, согнулись, вырываясь из окружающей темноты, а на лужах обозначилась рябь, неподвижная, как бы вычеканенная по черни.

Группка прошла к следующему участку. Главный и тот, что поменьше, иногда притопывали — должно

быть, чтобы согреться. Полы их длинных плащей сами собой расходились с легким шорохом, поднимаясь почти до уровня плеч и снова опускаясь.

Бутов вдруг сообразил, что это крылья, а вовсе не плащи.

— Участок номер... — доложил плотный в цигейковой шапке.

Бутов напрягся и теперь вспомнил его, а вместе и все роковые обстоятельства, связанные с их знакомством.

Воспоминания были, как жужжанье крупных осенних мух, когда они кружатся вблизи лица, жужжат, но нет и не будет возможности их отогнать; а внутри была даже и не пустота — совсем ничего.

В голову пришли слова профессора Р., который так плохо кончил, запомнившиеся со студенческих времен: «Внешние обстоятельства все в нас определяют, а внутреннее «Я» задыхается еще в пеленках. Кто нас пожалеет, если мы сами не в силах пожалеть? И чем мы будем существовать, когда внешнее для нас исчезнет?.. »

Постепенно Бутов вспомнил подряд все, что началось три дня назад и уж никогда не кончится; а вместе и многое иное.

...Сына Кости дома не было. Жена слонялась без дела, то выходя в коридор, то возвращаясь — сонная, неприбранная, в нейлоновом халатике, который когда-то был розовым, однако от времени побурел и пах кухней, именно невымытой посудой. При каждом ее шаге большие груди, привянувшие, но еще налитые, чуть колыхались, несказанно волнуя Бутова, несмотря на его очень немолодые лета. Он неуверенно поднялся, взял ее за руку и притянул к незастланной постели.

Она села. На круглом лице ее появилась неприятная — презрительная и ленивая, медленная улыбочка; не разжимая губ, она пробормотала обычное: «И страстью воспыلال скопец...»

Такую улыбочку Бутов впервые разглядел у жены и эти слова услышал десять лет назад; точно запомнилось — как раз должны были праздновать медную свадьбу. Он пришел к ней под утро — робко, потому что всегда немножко боялся ее, обнял, а она — кажется, даже не раскрывая глаз, — сказала это и вот так же улыбнулась. Он обиделся, потому что был мужчиной, как все — не лучше и не хуже, — и спросил:

— Что это ты?!

Она лениво ответила, чуть пожав полными плечами:

— Не ндравится? — именно с «д», несколько издевательски. — Можно и «юнец», «отец», а если иначе — «подлец»...

Он тогда подумал: «Завела себе», и сразу затем другое: «Я для нее не существую... Совсем... Раньше существовал; может быть, даже час назад, минуту, а тут — концы... А от чего именно? Никто не объяснит; да и лучше, чтобы не объяснялось».

Вторая мысль, или цепочка мыслей, была страшнее, вернее — безнадежнее первой, и он постарался отогнать ее. Но мысль не исчезла, а только опустилась на самое дно, чтобы там, уже неподвластная сознательной воле, затаиться.

Он хотел было уйти из гордости — сделал движение, чтобы подняться, но остался. Решимости не хватило.

Раньше тело ее сразу нагревалось внутренним пламенем, становилось влажным, клейким каким-то, вбирало в податливую глубину, не имевшую предела. А теперь она оставалась прохладной, совершенно спокойной, дышала ровно.

И так было потом, все десять лет без единого исключения. И было ужасно унижительно; будто он не брал ее, а принимал подаяние, да и подаяние, протянутое не ему, пусть только с жалостью, а такое, что швыряют не оглянувшись: подымай или не подымай — твое дело.

Но тянуло его к ней даже больше, чем раньше.

...Он расстегивал пуговицы ее халатика дрожащими

пальцами — толком раздевать он так и не выучился, хотя вообще-то руки у него были умелые, но в дверь длинно и требовательно позвонили. Жена поднялась без секундного колебания, отодвинув его, как неодушевленное что-то, и открыла. Вошла почтальонша Верочка — маленькая, круглая и веселая; вместе с нею с лестничной площадки ворвался клин холодного воздуха, раздвигая запахи несвежего белья, пота, всяческих жениных притираний, помад, духов, которыми был наполнен подзеркальник.

С порога Верочка сказала:

— С подарочком. За четыре месяца и семь дён!

Он очень обрадовался. Четыре месяца и семь дней назад вследствие некоторых причин пришлось уйти из Института на пенсию. Тогда все было оформлено, но придрался ревизор и пенсионные хлопоты начались заново. Не то чтобы Бутовы так уж нуждались это время.

Жена вязала кофточки и прекрасно шила, особенно пожилым, тем, что на самой границе — «еще женщина». Да и Костя подрабатывал чертежами. Но все-таки раньше Бутов чувствовал себя хоть кормильцем, главой, а тут оказался совсем сбоку-припеку, хотя, разумеется, никто его не попрекал.

Бутов расписался два раза и, лишь только дверь за Верочкой захлопнулась, снова пересчитал новенькие хрустящие десятки. Он так и стоял с пачкой денег в правой руке, растерянно улыбаясь.

...В квартире, светлой и просторной, были три хороших комнаты — одна с камином даже, и темная каморка, где обитала — сказать «жила» будет неточно — тетка Бутова, старушка лет восьмидесяти или восьмидесяти пяти — никто точно не знал, которую уже давно за глаза называли не по имени-отчеству — Варвара Борисовна, а безымянно — «эта». «Ну как эта, скрипит еще?.. Что там эта — все богу молится?»

Когда-то Варвара Борисовна была единоличной владелицей большой кооперативной квартиры, впрочем, и теперь официально записанной на ее имя. В те времена она представляла собой женщину не слишком высокого роста, широкую в костях, полную, с властным лицом, тяжелой поступью. И через много лет Бутов, если задумывался, проходя по темному коридорчику, а она случайно прошмыгнет мимо — тенью, летучей мышью, — не сразу мог сообразить, что *эта* и Варвара Борисовна одно лицо — так она изменилась.

...Двадцать лет назад, то есть вскоре после войны, Бутов, только демобилизованный, еще в армейской форме, пришел к незадолго до того овдовевшей Варваре Борисовне — единственной родственнице, и она, узнав, что он человек бездомный, не задумываясь, предложила:

— Поживи. Куда мне одной три комнаты?!

Выбирать было не из чего, и Бутов остался.

Варвара Борисовна заведовала большим комиссионным магазином, все стены были увешаны картинами темного письма — натюрморты с плодами и битой птицей в манере старых голландцев, Аполлоны, Амуры, Психеи, пастухи и пастушки — вероятно, по большей части не старина, а подделка под старину, но в дорогих золоченых багетах. В стены были вделаны тусклые зеркала и светильники, разные — деревянные, бронзовые, медные, тоже под старину. В углах гостиной стояли декоративные вазы в рост человека — китайские, греческие, немецкие и наши, Дулевского завода, покрытые плотным слоем пыли; узор почти не просвечивал. Мебель — столы, стулья, шкафы, сервант — была ветхая, разностильная; Бутов перевез сюда и свои военные трофеи.

Первое время — долго! — он чувствовал себя ужасно неприятно среди нагромождения вещей. Вроде того, когда приходилось ночевать в разоренных немецких го-

родках: у камина аккуратно уложенные угольные брикеты, даже щепочки для растопки запасены; на кроватях уютные перинки в полосатых чехлах; в ожидании стоит на полу вместительная ночная посуда толстого фаянса. В разбитое окно врывается черный ветер, прослоенный, как сало мясом, алыми прожилками — отблесками близких пожарищ; город пылает. Воеет, свистит ветер, а то замолкает, прислушивается, как звеня проносится тяжелый снаряд или длинно, однотонно прострочит станковой пулемет. И снова ветер воеет, хрипло лает, догоняя кого-то. Не те ли, кто должен был греться у камина, нежиться на белоснежном белье под перинкой.

А может быть, тех уже нет в живых?

С рассветом ветер поднимет и погонит тебя. Ты сквозь сон, не открывая глаз, хрипло спрашиваешь ординарца: «Ну, как, Васек, не горим еще?» — «Да нет, товарищ капитан, покедова порядок».

И тут, в квартире Варвары Борисовны, вначале Бутова преследовали кошмары, как и многих прошедших войну, раненых и контуженных.

Представлялось, что антикварные предметы эти один за другим вылетают в окно — резные стулья, чугунные подсвечники. Бронзовый светильник незатейливого фабричного литья на овальной зеленой рамке, обитый трачевым молью плюшем, попадает «к себе», в дешевые номера, на которые Бутов насмотрелся в пройденных за войну городках Австрии, Венгрии и Германии. Прилепляется к пятнистой от сырости стенке узкого, как пенал, номерка, где только и умещаются кровать, стул да умывальник с желтой раковиной.

Светильник загорается.

На кровати голая женщина и мужчина какой-то — не сам ли Бутов?! — во сне не разглядишь. Они заняты своим несложным, птичьим делом. Мужчина, не отвлекаясь,

нашаривает тяжелый армейский сапог со стальной подковкой и ловко швыряет в светильник. Снова в номерке темнота, пронизанная дребезжанием кроватных пружин.

А этот хрустальный сервиз летит себе на запад, откуда он в войну был вывезен, в бюргерский городок с единственной островерхой кирхой на центральной площади, памятником Гинденбургу, с биршенке и бирхаусами — местными пивнушками — на каждом углу. Долго кружит над узкими улочками, а после опускается в густые лопухи, на пустырь, когда-то занятый домом, где жили его хозяева.

А иногда ему снилось, что не только Аполлоны и Психеи с картин, но даже золотые багеты надвигаются, теснят. Он кричит: «Рота, за мной!» — и просыпается от собственного крика.

Кошмары мучили только первый год; после война стала забываться, и к нагромождению вещей он привык.

А потом он женился, по страстной, томительной любви, ни на минуту не отпускаящей, не любви даже, а плотской, чем-то принижающей зависимости. Родился сын Костя, и Варвара Борисовна — без всяких просьб — две комнаты отдала Бутовым, а сама переселилась в крайнюю, изолированную комнатку, небольшую, но светлую, с балконом.

С тех пор она начала словно бы уменьшаться — ссыхалась, «скукоживалась» — это слово откуда-то выкопал Костя, без особых причин ненавидевший ее. Сперва исчез у Варвары Борисовны белокурый шиньон. Обнаружилась гладко причесанная маленькая головка, где сквозь редкие седые волосики печально просвечивала неживая серовато-мучнистая кожа. Вместо туфель на высоком каблуке Варвара Борисовна стала носить войлочные заношенные шлепанцы, немилосердно шаркая ими.

От этого — но тут играли роль не только внешние причины — она словно бы вжалась в землю, как бы наполовину в нее ушла. И то, что осталось, тоже всем суще-

ством тосковало по земле, по последнему покою. А она жила.

Она стала ходить в церковь, и вместо прежнего аромата духов, за ней стлался стойкий запах ладана, свечей и еще чего-то холодного и неуловимого: близкой смерти?

Однажды, когда в доме никого не оказалось — Бутов был на работе, Наталья Михайловна ушла к заказчице, а Варвара Борисовна в церковь, — Костя снял все картины в комнате Варвары Борисовны, с корнем вырвал крюки, раздражавшие его дурацкие светильники и перенес старухины вещи частью в коридор, частью в темную каморку, а комнату занял сам.

— Как же так? — робко спросил Бутов, когда вернулся с работы.

— Надо самой уступать дорогу согласно правилам уличного движения, — поучительно ответил Костя. — Кто не умеет — дадим по мозгам.

Он говорил, ни на минуту не прекращая работы, перенося в старухину комнату ржавую рапиру, книги, диван-кровать, шкаф, гантели, стол, велосипедный насос и умело прилаживая свое имущество в подходящих местах.

Когда старуха под вечер вернулась из церкви, приборка уже закончилась. Она открыла было дверь в прежнее свое обиталище, все поняла, будто давно ожидала того, что произошло сегодня, часто закивала седенькой головкой на тонкой морщинистой шее и скрылась в каморке.

А Костя сказал вслед:

— Старикам, как говорится, почет, а молодым подавай жилплощадь.

Слыхала ли старуха Костино напутствие, неизвестно. А Бутов слышал, конечно. Но не вмешался. И в нем возникло ощущение предательства: что, вот, он совершил предательство и неизбежно сполна за него расплатится; так неизбежно, что если расплата не придет до его смер-

ти, то, значит, есть другая, загробная жизнь, где она совершится, не может не совершиться.

Костя тем временем, что-то такое насвистывал, задвинул дверь в соседнюю комнату шкафом, совсем отделяясь от остальной квартиры.

И еще Бутов почувствовал, но не так четко, не так передаваемо словами, будто какая-то сила — жизнь? — влекла и влечет его по стержню бурного течения, где один берег пологий, в розовой дымке — небытие до рождения, а другой — неразличимый глазом, хотя и близкий, — небытие после смерти. И к тому, что влечет вдоль русла, протянулись тугие, как струны, тросы; трос лопнет, и сразу из ничего, то есть не из «ничего», а из этой самой силы жизни, возникнет другой — «порядок в танковых войсках», как говорили в войну. Но вот тросы стали лопаться, не заменяясь, так что осталось их совсем ничего, и Бутова сносит к другому, уже различимому берегу. Такой именно картины зрительно не возникало — мысль вещь нагая и лишь потом обнаруживает свою суть — думалось проще: «все как-то становится ни к чему, больше и больше — ни к чему».

И думалось так, когда Наталья Михайловна впервые сказала нелепый стишок — «И страстью воспылал...», а в углах ее губ возникла улыбочка.

Думалось так, когда старуха скрылась в темной каморке, отделенной от коридора ситцевой занавеской; из каморки не доносилось ни звука, будто она умерла там в душной темноте; но не умерла же. А из бывшей старухиной комнаты звучали четкие Костины шаги и насвистывание.

Все ближе и ближе к неразличимому берегу.

Варвару Борисовну именно со дня ее переселения стали называть *эта*, точно самим себе всякий раз подтверждая, что старухи, собственно, и нет, а осталось нечто эфемерное, безымянное; а перед такою, почти несуществующей — какая же может быть вина?

Эта почти не выходила из комнаты, даже готовила себе там на электрической плитке. Прошмыгнет в туалет или на кухню за водой и обратно, как мышь в нору.

А иногда *эта* затаивалась за занавеской, караулила Костю, единственного человека на свете, к которому была привязана последней неразделенной любовью. В темноте прихожей она плохо видела и часто принимала Бутова за его сына, ловила за рукав и несмело гладила — почти не касаясь, почти по воздуху: «Котик... Котенька» — «с» она не выговаривала. Бутов затаил дыхание, чтобы она не узнала его. А она погладит и скроется в каморке.

Как-то Костя сказал:

— Эту бы в дом для престарелых: четырехразовое питание, уход. Есть у меня лоб знакомый — устроит.

Бутов промолчал. А Наталья Михайловна пожала плечами:

— Пускай копошится... Ненадолго...

— Как бы она со своей печуркой нас не спалила, — лениво возразил Костя, прерывая разговор.

2.

Бутов стоял с деньгами в руке — не совсем тоненькой, весомой пачечкой — растерянный, переводя невидящий взгляд то на серое окно, то на жену, медленно застегивающую халатик. Он почти не воспринимал окружающее, потому что всеми силами вглядывался в самого себя, в свою сердцевину, в подсознание, где обозначилось нечто обнадеживающее, странно томительное, молодое, — решение, знаменующее, как казалось, начало новой жизни.

Он вслушивался в это *решение*, сути которого не мог еще разобрать — что-то расплывчатое, — с недоверием, так сама мысль о нем противоречила, его подержанному, помятому и прибитому годами естеству, но и с надеждой: чего не случается?

Раньше *начала* часто приходили, и, хотя они с течением времени впадали в основной поток — мутный, медленный, даже еще больше замутняющийся от таких «впадений», — он *начала* любил, верил в них.

Ощущение *начала* новой жизни было, когда он — давно уже — писал стихи; оно повторялось при рождении чуть ли не каждой строчки. И в день демобилизации, даже не в день, а в ту секунду, когда он вдруг понял, что совершенно свободен, может ехать хоть к черту на рога; и когда он впервые осмелился поцеловать Наталью Михайловну, а она, отрываясь от его губ, с быстрой улыбкой сказала: «наконец-то»; и в день, когда он забрел к Варваре Борисовне — безо всякой корысти, просто как к единственной родственнице, а она предложила поселиться у нее, сразу ответив на все неразрешимые, казалось бы, вопросы; и в день, когда он встретил майора, однополчанина своего, хотя и очень нелюбимого, с тусклыми неподвижными глазами, спрятавшимися — хочется выразиться иначе — притаившимися — между припухших век; и майор с ходу предложил взять Бутова в Институт, которым теперь заведовал: «Ничего, мол, не боги горшки обжигают!»

И в день, когда он сначала не отыскал в коротеньком списке, вывешенном в вестибюле родилки, единственной долгожданной строки, важнейшей из всего, что могло произойти, важнейшей потому еще, что только она одна и могла утвердить зыбкое, иллюзорное, связывающее с Натальей Михайловной; а после эта строка выросла, бросилась в глаза — четко, крупно — да так и осталась; он мог бесконечно перечитывать: «Бутова Н.М. — мальчик 3700 грамм».

В пивной, куда он зашел *отметить*, случайный сосед по столику, ветхий старичок, которому Бутов на радостях поставил кружку, седенький, прозрачный, даже казалось — призрачный, прихлебывая пиво, беззвучно шелестел:

— Один факт, это когда ты излучаешь свое существо в пустоту, пока не иссякнет последний луч оно, и ты представляешь перед престолом Всевышнего как есть голенький. А иной факт, когда излучаешь существенность в другое, единокровное, и оно наполняется, светится, доколе очи твои различают свет, и еще позднее жизненного предела.

Шелестел что-то вроде этого.

Суть ощущения *начала* всегда была в том, что до того, как оно возникало — мгновенно, неожиданно, — все в тебе вяло топорщилось в разные стороны — бессильными стебельками, желтой осенней травкой, схваченной и прибитой морозцем. И вдруг всё распрямлялось, связывалось в жгут, как бы в мышцу, в нечто сильное, прямящееся. Связывалось иногда серьезным чем-то, а иногда самым, на первый взгляд, пустяком — но всегда связывалось все в тебе, даже самое отдаленное.

И сейчас *начало*, до того уже много лет не возникавшее, было в том, что неожиданные деньги должны пойти не на хозяйство, где всех дыр не залатаешь, и не на отдачу долгов, а на «Радугу», «телик», как выражался Костик, давно и безнадежно мечтавший о хорошем телевизоре: «У нас, сколько ни будет — прожрем!»

В телевизоре все просто и ясно *связывалось!* Они будут сидеть перед экраном ежевечерне. И в Наталье Михайловне от уютной близости пройдет отчужденность — так же внезапно пройдет, как внезапно появилась.

У телевизора хватит места и для Варвары Борисовны; про себя он сначала выразился привычно: «хватит места и для *этой*», но сразу поправился: «И для Варвары Борисовны». Исчезнет томительное ощущение *греха*, которое Бутов, хотя он и не верил в Бога, иначе назвать не мог, — смертного греха. Костик перестанет морщить и зажимать нос, отворачиваясь от старухи, будто она пахнет мертвечи-

ной; привыкнет и перестанет.

Кроме ощущения греха, пройдет и другое, постыдное и не менее горькое — страх. Страх от того, что вот Варвара Борисовна стала *этой*. А за старухой его черед.

Кого еще?

Темный чуланчик, пренебрежение, отвращение родных, дом для престарелых; совсем непредставимое, темное, беспросветное существование, без малейшей надежды — пострашнее, чем смерть, к которой только такая жизнь и ведет.

После телепередачи они с Костиком посидят вдвоем, выкурят по сигарете, хотя Бутов давно бросил курить. Побеседуют по-мужски. И само собой возникнет у обоих ощущение «единокровного существа», как выразился не забывающийся шелестящий старичок.

...Бутов с отчаянием и надеждой взглянул на Наталью Михайловну, сжал в ладони хрусткие десятирублевки и выбежал из квартиры. У подъезда он разминулся с Костиком, возвращавшимся домой, пробежал несколько шагов, обернулся и победительно крикнул, что вот идет за «Радугой», и помахал тугой пачечкой.

Костик радостно закричал, чтобы покупал не в «Универсальном», а в фирменном — до метро, а там прямо по Знаменской.

— Знаю! Знаю! Через часок вернусь, — продолжая бежать, отозвался Бутов.

Было ощущение, что обязательно нужно поспеть до обеденного перерыва, что в этом «до» условие, неизвестно кем поставленное, какая-то, что ли, магия, а если телевизор «купится» после перерыва, «новой жизни» не бывать...

Он бы и поспел, но у выхода из «метро» его остановил этот — плотный рыжий в дубленке с рыжим цигейковым воротником и в такой же цигейковой шапке пирожком.

Придерживая Бутова щепотью правой руки, он длинно говорил что-то с неприятной искательной улыбочкой на толстом нагловатом лице; воспринимались только клочки фраз: «Я, так сказать, периферийный житель»; «у нас, образно выражаясь, идешь, а навстречу, извините, медведь»; «а тут напротив у каждого встречного на личике образованность — так бы и расцеловал, так бы и приобщился; вот головка-то, так сказать, извините, кругом пошла и дальше больше — кругом, кругом»; «а тут такое вполне безвыходное положение; вот и решился, так сказать, хотя вполне сознаю, что отвлекаю своей, извините, периферийной зачуханностью».

Клочки фраз были короткие и вдруг, когда, казалось, должен наконец проясниться смысл, обрывались, смысл проваливался в обрывы.

Голос был искательный, но с наглечей. И в улыбочке, и в глазах, желтых, как у кошки, но без блеска, неживых, а как песок — пустынных глазах - заключалась некоторая издевка.

Наконец Бутов разобрался, что желтоглазый спрашивает просто-напросто, как доехать до вокзала, и торопливо объяснил дорогу. Желтоглазый, продолжая крепко придерживать Бутова за рукав, попросил «повторить адресок». Повторил и все перепутал. Долго искал бумажку, чтобы записать «уже, так сказать, для окончательной верности».

Когда наконец желтоглазый скрылся в дверях метро, Бутов понял, что пешком ему не поспеть, и стал ожидать троллейбус. Тот, как назло, не появлялся минут двадцать. Подъезжая к нужной остановке, Бутов увидел закрытые двери огромного фирменного магазина.

Он стал прохаживаться по совершенно пустому тротуару — безлюдность могла показаться странной в этот деловой дневной час. Он шагал от одного фонарного столба к другому; что-то внутри в такт быстрым шагам повто-

ряло и повторяло: бе-да, бе-да, бе-да — одно слово. Хотя разумом Бутов понимал, что ничего особенного не случилось, надо только потерпеть часок; хотя он вновь и вновь уговаривал себя, что «ничего особенного», и так хотел поверить своим словам, но не верил, все больше ссутуливался, бледнел, даже мертвел под тяжестью непонятной и тем самым непредотвратимой беды.

А потом кто-то крепко ухватил Бутова за рукав: и он узнал «периферийного жителя» по хватке когтистой его щепоти. Поднял глаза, увидел дубленку, рыжий воротник, рыжую шапку пирожком и, задыхаясь от негодования, даже со слезами в голосе, воскликнул:

— Да как вы смеете! Да когда это все...

Но осекся в крайней растерянности, не закончив фразы. Дело в том, что глаза у того «периферийного жителя» были желтые; он точно помнил — желтые, без блеска, *пустынные*, а сейчас с толстощекого лица в упор глядели серые глаза — тоже без блеска, но серые, как пепел, как зола, — *выжженные*.

Извинившись, Бутов пробормотал:

— Сходство поразительное. Просто трудно поверить...

— Очень даже бывает! — напористым, срывающимся на фальцет голосом, подхватил тот, в цигейковой шапке. — Игра, так сказать, природы. Приходится наблюдать и более, извините, удивительные явления.

— Так ведь не только лицо... Дубленка, шапка, фигура, голос... вообще...

— А это тоже «дубленка, шапка, фигура, голос, *вообще*», как вы изволили выразиться, — единственно игра природы. Да и то сказать — дубленочки изготавливаются в тысячах экземпляров на предмет удовлетворения растущего спроса. Шапочки — соответственно. А люди?.. Те, если вдуматься, совершенно к одному ловчат. Как жуки. Поскольку нутришко одно, и наружность отчего бы стала различаться. На первый взгляд

покажется: этот — «такой», а тот — «сякой»; но, в сущности, извините, исключительно — выпендрей, обман зрения.

Ни на минуту не умолкая, странный незнакомец подталкивал Бутова к черной «Волге» с открытой дверцей, стоявшей у самого края тротуара. Когда они очутились в машине, он быстро, словно фокусник — Бутов и слова не успел выговорить, пока это продолжалось, — извлек из кармана дубленки пакетик с колбасой, нарезанной аккуратными ломтиками, плоскую бутылку с яркой заграничной наклейкой, два зеленых пластмассовых стаканчика и, всунув один из них в руку Бутова, наполнил их; в другой руке Бутов продолжал сжимать деньги.

Он странно захмелел сразу же, лишь только почувствовал спиртовой запах. С трудом ворочая словно бы распухшим языком, он сказал:

— Да я ведь не пью...

— Оно и ни к чему, если без повода, — подхватил собеседник.

— А тут, поскольку просвещенные личности встретились, так сказать, велением судьбы. И к тому же покупочка, извините, предстоит изрядная... Насчет покупочки угадано?..

Бутов стал пить мелкими глотками, как бы против воли.

— Ага. Собрался купить «Радугу», — сказал он, когда стаканчик опустел.

Два слога: «бе-да», «бе-да», — доносились одновременно и изнутри, и словно со стороны, очень издалека. Они звучали отрывисто и резко, как в армии «ать-два», «ать-два», когда идешь в ночном марше; каждый раз, прежде чем поставить ногу, представится, что там, во тьме бездонная пустота; больно перехватит дыхание, пока нога не утвердится на невидимой почве: «ать-два», «бе-да», «ать-два», «бе-да».

— А почему, извините, именно телевизор?

— Так уж... предмет длительного пользования, — неопределенно отозвался Бутов.

— Однако есть же, так сказать, предметы вечного!

— Ну уж и «вечного»... Как это может быть?

— А так, извините, может!

— Это вы... того... — тяжело ворочая словно распухшим языком, бормотал Бутов.

— А если я вам, извините, на фактах... Приобретете это самое «вечное»?..

— Отчего не приобрести, — Бутов попробовал улыбнуться.

— Заметано, — взвизгнул собеседник, и у Бутова все похолодело внутри — не только от неожиданного вскрика, но еще и потому, что он почувствовал и увидел: машина уже не стоит на месте, а с огромной скоростью мчится по городу знакомыми улицами, которые почему-то все до одной были тоже пусты.

— Куда это мы? С какой стати?! Да мне же...

— А вот с такой-сякой стати! — в голосе рыжего не оставалось и следа прежней искательности.

Машина мчалась уже не по городским улицам, а незнакомым шоссе, по бурым лужам, между шеренгами мокрых, мелкорослых деревьев. Ветровое стекло заляпала грязь. Сквозь прозрачные еще островки стекла бросалось в глаза, что и шоссе пусто: ни одной машины — ни встречной, ни попутной, — ни единого прохожего.

Бутов подумал: «Тут заключена ужасная, — именно ужасная! — странность. И нужно сейчас же, немедленно понять ее. После будет поздно!»

В голову пришло и совсем необъяснимое: «После — вовсе ничего не будет».

Уже не слышались шелест шин, короткие, как приглушенный крик, всплески воды в лужах, будто машина летела, не касаясь земли. С непонятной быстротой вечере-

ло, день валился в ночь, как в болото. Огромное бледно-желтое солнце больше чем на треть ушло в землю, и лучи его плоско сквозили редкий строй придорожных деревьев, казавшихся почти черными, нестройностью своей и зыбкостью похожих на неловкие шеренги новобранцев.

Мотор взревел не как автомобильный обычный мотор, а похоже на танковый дизель, и машина разом остановилась.

Бутов, вслед за Рыжим, вышел из нее. Асфальт обрывался. Впереди и по сторонам насколько хватало глаз, простиралась болотистая равнина, расчлененная узкими тропинками на однообразные квадраты.

Рыжий там, впереди, бежал рысцей, и Бутов едва за ним поспевал, часто оступаясь в глубокие лужи с вязким дном; казалось, что и край земли где-то рядом, того и гляди шагнешь за него. Было темно — ни звезд, ни луны. Только на воде непрочной белесой пленкой тускнел отблеск недавно закатившегося — а казалось, утонувшего — солнца. Бутов то и дело терял из виду своего спутника, проводника по этой болотистой, тоскливой земле, «проклятого знакомца», как он говорил про себя, и всякий раз испытывал чувство безнадежности.

Впрочем, когда он снова нашаривал глазами Рыжего — теперь вернее было сказать «Черного», — на душе не становилось легче. Именно тяжесть, непосильную и все время нарастающую, Бутов ощущал яснее всего, может быть, даже — единственно из всего: тяжесть души, ставшей почти свинцовой, комьев грязи, налипших на ботинках, насквозь промокшего драпового пальто, сырой темноты, страха, словно впечатывавших его все глубже в белесо-черную топь, тяжесть войны, несчастий, всего пережитого.

Огибая лужу, Бутов с разбега налетел на темную фигуру с широко расставленными, словно ловившими его — именно его — длинными руками; больно ударился одновременно лбом и грудью, почти потерял сознание от боли

и от ужаса, даже не просто страха, а пронизавшего его чувства *последнего мгновения*, что ли, конца жизни, — кулем соскользнул вниз и, опустившись на плоский камень, без облегчения понял, что темная фигура — это не живое, а крест, и сидит он, Бутов, не на чем ином, а на надгробии, глупо и нелепо мелькнуло: «на собственном надгробии».

И кругом не иное что, а обширное кладбище: край, но не земли, как могло показаться, а жизни.

Шире открыв глаза, Бутов увидел «проклятого знакомца». Ощерив редкозубый рот, тот пронзительно фальцетом кричал:

— Раскумекал! Товар *вечного* пользования — кладбищенский персонал, участочек. Куда вечнее?! Гони денежки и получай в полное распоряжение...

— Да зачем... Да с какой стати, — слабо протестовал Бутов, пробуя даже улыбаться, чтобы обратить разговор в шутку.

От удара он еще был в полуобмороке и плохо соображал, что же с ним происходит.

— Очень даже «зачем». Готовь сани летом... «Потом», «после». *После вообще ничего не будет!* — выкрикнул Рыжий; было странно и то, что он в точности повторил слова, пришедшие в сознание Бутова недавно в машине и, кажется, не произнесенные вслух.

Рыжий наклонился — глаза его, теперь снова показавшиеся тускло-желтыми, пустынными, промелькнули мимо лица Бутова, — и впился в правую руку, все еще сжимавшую пачечку десятирублевых, мелкими и острыми, словно крысиными зубами.

Пальцы Бутова разжались.

Деньги еще только падали на плоское надгробье, падали пачечкой, не разлетевшиеся на отдельные бумажки, когда Рыжий на лету схватил их, помахал ими в воздухе и в то же мгновение исчез.

Бутов поднялся. Рыжего нигде не было видно. Кругом простиралась однообразная, белесо-серая темнота, несколько прореженная кровавым закатным светом, сквозившим кое-где на самом краю неба, как слой бинтов на ране, недвижимыми облаками. Что-то было опасно ранено — не поймешь, в самом ли Бутове только — и кровоточило.

Недолго передохнув, Бутов обшарил надгробье и землю вокруг, но денег не нашел. Посмотрел на правую руку, близко поднеся к глазам: не было ни малейших следов укуса, хотя рука в закатном свете показалось такой, словно ее окунули в кровь. Еще раз — без всякой надежды, разумеется, — склонился к надгробью и вдруг на самом видном месте различил лист плотной бумаги, серо выступающей из темноты.

«Раньше листа не было, я не мог проглядеть, — подумал Бутов. — Что ж, ветром принесло, что ли? Так ведь такая тишь, не шелохнет».

Он сильно тряхнул головой, этим физическим усилием пытаясь отогнать нелепицу, которая вместе со всем другим приключившимся сегодняшним днем, теснила и теснила его: будто он стоит над пропастью, а они, нелепицы, сталкивают еще на один последний шажок, может быть, даже на один миллиметр только, отделявший от бездны.

Бездны безумия? Бездны смерти?

На бумаге, покоившейся посреди надгробия, порой выступали и также сами собой скрывались отдельные слова, отпечатанные крупными типографскими литерами, несколько напоминавшими старославянскую вязь. Он разобрал: «Бутову»... «вечное»... «с потомками онога», — слова, по-видимому, подтверждающие уже известный ему характер документа. И против собственного решения — не принимать ничего *странного*, действовать так, будто *странного* и нет вокруг, — подумал, что если слова,

которые он различил — не совсем все же четко — выпечатываются вот сейчас, на его глазах, то это естественным образом не объяснишь; а если документ был заготовлен заранее, то и это естественными причинами не объяснимо: когда же и как, в какой типографии можно было ухитриться изготовить бумагу или хоть впечатать фамилию «Бутов», если они с «проклятым знакомцем» встретились лишь несколько часов назад и с тех пор не разлучались?

«А если... — мелькнуло в сознании, — если тот находился рядом всегда? Может быть, даже с самого рождения? Прячась до срока и исчезая лишь в самые ясные, совершенно безоблачные дни, которых и всего-то в жизни — раз, два и обчелся?»

Он снова подумал — безнадежно, тоскливо, что срок совсем близко.

И что, допуская в себя непонятное, странное, он как бы по собственной воле приближается к истечению срока, чьей-то силой подталкивается к истечению его. Уже слышен шорох камушков, песчинок, срывающихся в пропасть; даже самому уже почти возможно заглянуть в бездонную глубину, в которую вот-вот ты сорвешься; и сердце сжимается, охватывает последняя тоска.

Бутов поднял бумагу, хотел разорвать ее и выбросить, но почему-то аккуратно сложил и спрятал в боковой карман пиджака. Вообще он все время поступал не по собственной воле, а по велению чего-то, кого-то невидимого; будто оно, это невидимое, вот сейчас, как рак, выедает собственные твои живые клетки, живые мысли и чувства, и заменяет однообразной массой клеток, образующихся в пустоте.

...Но было не понятно — выедает это *оно* живое или только заполняет давно уже опустевшее?

Шоссе, где тускло горели редкие фонари, наполнилось стремительными белыми и красными огоньками. Бутов

шагал к нему напрямиком, не глядя под ноги, увязая в топкой почве и проваливаясь в колдобины. Выбравшись наконец на асфальт, он поднял руку, но машины проезжали, даже не замедляя хода, только ударяя тугим ветром, как крылом. Наконец водитель пустого грузовика сжалился над ним, но пустил не в кабину — «измараешь тут», — а в кузов. Домой он добрался, может быть, поздним вечером, а может, даже часа в два-три ночи; время как-то изменилось; оно текло, уже не разделяясь привычно на минуты, часы, даже на месяцы и годы, — последнее он понял позднее, — текло словно бесформенное, словно каждый раз меняя свое направление; это он тоже понял позднее.

Дверь была распахнута — его ждали. Он вошел в большую комнату и увидел Наталью Михайловну, все в том же халатике, и Костю, и своего единственного аспиранта, «домашнего человека», как называла его жена, — Степку Дерюгина, сидевших рядом на кровати. Все лампы горели, однако свет, полнивший комнату, как будто распространялся не от них и был бесцветный.

— А телик где, отец-благодетель? — спросил Костя звенящим от ненависти ровным голосом.

От ненависти этой не было защиты, от этой вдруг проявившейся, а прежде не подозреваемой ненависти, которая, значит, возникла и зрела годами. Но, еще пытаясь отдалить ее, хотя бы чуть смягчить, он вынул из кармана — суетливыми, неуверенными, искательными движениями этот плотный лист бумаги с то появляющимися, то исчезающими словами, и распрямил его на столе. Не проходило ощущение, что шуршат и скатываются в пропасть секунды; и пропасть уже не просто близко, как чудилось на кладбище, а прямо под ногами.

Кружилась голова, как над пустотой.

Костя взглянул на бумагу, не оборачиваясь, сунул ее матери и сказал:

— Раз в жизни подумал — обрадует отец-благодетель, покайфуем перед теликом, как прочие люди. Вот и обрадовал так обрадовал... Туфта. И все у тебя — одна туфта... Пьян? Все пропилил? И пить ты не умеешь.

Он помолчал и закончил, как, причитая, плачут над покойником деревенские бабы:

— И ничего ты не сделал в жизни. И никому не дал счастья. Туфта, туфта, туфта...

Не то чтобы в Бутове все оледенело, было другое — много страшнее. Он летел в ту самую пропасть. Боль, как бурав, вонзилась в сердце и поворачивалась виток за витком.

Очень издалека, где он, как казалось ему, был сейчас, Бутов попытался поймать взгляд Натальи Михайловны, которая одна могла бы заступиться за него. Он еще надеялся в тишине, царившей вокруг, уловить ее голос — могущий все изменить, вытянуть из пустоты, воронкой, водоворотом закрутившей его и тянущей вниз, вниз. Поймал ее взгляд и уже без этой последней надежды закрыл глаза. Секунду он оставался в темноте, защищенный кожей век, в полном одиночестве; покинула даже буравящая боль. Она нависла над головой, уже не ввинчивалась, а ударила как обухом; вот тогда все оборвалось.

Но частица времени, когда смерть примеривалась, была, — ее наполнял не ужас, отчаяние, а спокойная и безнадежная мысль. Ясная, хотя и не облекающаяся в слова мысль о прожитой жизни; не только о вместившемся в нее, но и о прошедшем мимо; о том — для чего же она была предназначена, что в ней должно было осуществиться.

И эта мысль, такая протяженная, казалось, не может пресечься. Но ведь смерть?! Как же?!

Мысль была как будто совсем не о том, что прежде представлялось главным, вообще не о том, что объяснимо словами. Она касалась вначале только себя самого, Кости, Натальи Михайловны, ну и «этой», может быть. Но лишь

почти касалась, *почти* соприкасалась с их судьбами, а не сливалась с ними; она не могла преодолеть последнего расстояния, тонкого, как кожица век, закрывших глаза.

И вместо Костиных слов, только что прозвучавших как решение Божьего суда, доносился отчаянный крик того же Кости — но пятилетнего, которому угрожает что-то и он зовет: «Папа, папочка!» Зовет без слов — немо, только взглядом. Ребенок лишь пытается выкрикнуть эти слова. А он, отец, слышит и не слышит, не откликается на зов; что-то мешает подойти к нему, прийти на помощь. Что же? Этого уже не разгадаешь, если не успел разгадать за всю жизнь.

Но как же окончательно исчезнуть, не разгадав?

Может быть, он не откликнулся тогда, потому что в самое мгновение обнимал горячее, сонно-податливое тело жены и не находил в себе силы оторваться. Или он спал — ничего не видел и не слышал?

Рот Костика, беспомощно и зовуще открытый в немом крике, сжимается все тверже и тверже. Лицо отдалилось, но от него падает неясная еще, холодная тень.

Теперь, в отчаянии, хватило бы сил сделать шаг, который когда-то ты не сумел сделать; но теперь пришлось бы бежать тысячи километров, бесконечность, чтобы преодолеть расстояние между тобой и сыном, раньше казавшимся таким близким, частицей тебя самого.

Когда же бежать — если смерть?!

Мысль стремится вдаль бесконечным закатным облаком; тянется так, не ускоряя и не замедляя своего движения, мерно, спокойно, — точно ей-то не суждено сейчас оборваться; точно она уже почти и не связана с ним, с Бутовым, а плывет сама над пустотой, поглотившей прежнего ее хозяина.

И во взгляде Натальи Михайловны, в прелестно оживленном лице ее, таком, каким оно было в дни первого их знакомства, — вопрос, ожидание. А после оно тоже тверде-

ет, недоступно удаляется; в углах губ возникает отчужденная улыбочка, страшная в этот миг.

Из-за занавески в темном коридорчике возникает Варвара Борисовна. Но она не видит Бутова. Сухонькая ее ручонка скользит по воздуху — очень близко, но все же не прикасаясь к нему. Благословляет, но только воздух.

А если бы она коснулась Бутова?

Теперь уже мысль больно и тесно объемлет его самого.

Она — его собственная мысль, или его мысль, соединившаяся с какой-то иной силой, — движется там, высоко, когда он сам чуть ли не по горло погружается в затягивающую болотную жижу.

И он отражается всеми годами, всеми без исключения мгновениями прожитого в собственной мысли, как в постороннем, как в недвижимом закатном облаке, в замерзшей ночной реке. Она — мысль — разглядывает его со стороны — зорко и равнодушно.

Что он есть? Добрый человек без добрых дел? То есть были и добрые дела, но без цели, без следствия, без радости, без хоть следочка, оставленного ими пусть в одной душе, — бессильные, вялые.

Что он? Человек, оставляющий за собой пустоту? Но пустота и есть зло.

Встретился однополчанин-майор, сказал, что назначен директором Института, и с ходу предложил зачислиться к нему: «Не боги горшки обжигают!»

— А я, знаете ли, как раз думаю о чем-то таком... ну, отчасти божественном, — неопределенно ответил он.

— Стишки, что ли? — спросил майор, вспомнив опыты Бутова в дивизионной и армейской газетах.

— Вроде...

— Однако и кусать чего-то надо.

— Конечно.

— У тебя как? Родственники и прочее? Сейчас строго.

— В порядке.
— Заходи и оформляйся!
Секундное колебание и:
— Пожалуй, зайду...

Зашел и стал ученым. Только какой именно наукой пришлось заниматься в Институте, почему-то не вспоминалось. Да разве это так уж важно?! Стал ученым; точнее — научным сотрудником.

С кем со-трудником? В каком труде?

Мысль доходила помимо слов, сама собой перестраивая атомы мозга: доходила скорее не пониманием, а ощущением.

3.

Бутову видится черное пространство с отдельными, друг от друга далеко отдаляющимися пузырями, которые то набухают, наполняются тенями, то пустеют, делаются совсем тусклыми, а то исчезают. Ему вспоминаются строки Шекспира: «То — пузыри, которые рождает земля, как и вода». Он понимает — вернее, ему внушается как-то, что черное пространство это — бескрайнее болото смерти, и видит он в нем только то, что связано с ним, Бутовым, вызвано его присутствием — прежним, воспоминаниями о нем; больше ничего.

И когда эти пузыри бледнеют или лопаются, погружаются в болото смерти, это означает только одно, от него не зависящее: он забывается, отблеск его жизни уже — так быстро?! — стерся. И он вглядывается в один из этих серых пузырей, с непривычным еще, странным безразличием смерти, но и с любопытством, только другим, чем у живых, — холодным, с этой обязанностью знать, последней обязанностью, не погашенной смертью. Будто ему придется свидетельствовать.

Где? О чем?

И он запоминает — это для будущего свидетельства, — что там, на земле, кроме Натальи Михайловны и Дерюгина — «домашнего человека», кроме Кости, есть еще *эта* — Варвара Борисовна. Но она вдруг как бы выпрямилась, как бы наполнилась силой, властью даже, и рот ее крепко сжат, так что почти незаметно, какой он старчески впалый. А посреди комнаты — стол, сейчас раздвинутый, как при прежних редких праздниках. И на столе лежит он, Бутов; а рядом на табуретке миска с теплой водой, мыло и чистая тряпочка. Наталья Михайловна хочет его обмыть, берет в руки мыло и тряпочку, но эта, с такой неожиданной для нее теперь властью и силой, за которую давным-давно Костя тайком называл ее Екатериной Великой, отстраняет жену. И говорит:

— Так не положено, чтобы близкие обмывали, а я что ж, я седьмая вода на киселе. Мне можно.

Сказав это, уносит мыло — «и мыло не положено», — скрывается в своей каморке и, обмокнув губку, принесенную оттуда, не обмывает, а именно обтирает тело Бутова.

И так же властно, не глядя на Наталью Михайловну, но обращаясь именно к ней, говорит: «Белье чистое, костюм, тапочки!»

Наталья Михайловна открывает платяной шкаф, протягивает смену белья и серый латанный костюм. Варвара Борисовна белье принимает и начинает его, Бутова, очень ловко, но не быстро, без малейшей торопливости, обрывать, а костюм швыряет на пол: «Давай синий, ничего — Дерюгин твой обойдется».

И Наталья Михайловна, словно не смея ей возразить — очень странно, — достает, хотя с некоторым колебанием, синий парадный костюм, единственный, который был у Бутова.

Варвара Борисовна кивает сухонькой головкой на тон-

кой морщинистой шее и так же, совсем неторопливо, но осторожно, ловко обряжает Бутова в костюм, надевает ему носки, а старые грязные шлепанцы отбрасывает; и говорит, то есть именно приказывает, Наталье Михайловне:

— Пойди, купи новые! Покойник этих не примет.

Наталья Михайловна так же безропотно выходит из комнаты. Пока ее нет, Варвара Борисовна говорит, обращаясь то ли к аспиранту Степке, то ли к любимцу своему Косте — «Котьке», то ли к самой себе:

— Это еще когда я молоденькой пребывала, хоронили девицу, а на ноги ей — туфли на высоком каблуке; а там дорога длинная, ох какая длинная — как же, чтобы на высоком каблуке? И покойница на следующую ночь вернулась, стала стучать в окошко. Пока петухи не запели, стучала, — наш-то город тогда маленький был, да и какой там город — не то поселок, не то деревня. Родные чуть со страху не померли. Спасибо, батюшка умный был, старый, все знал. Рассказали ему, а он: «Вчарась через дом от вас вьюнош преставился, вот и положим ему в гроб тапочки, он их передаст». Так и сделали. И та больше не заявлялась, не стучала в окно. Так-то...

Когда Наталья Михайловна пришла, Варвара Тимофеевна взяла у нее из рук тапочки и надела Бутову. А после снова скрылась в своей каморке, вернулась с маленькой иконкой Николая Чудотворца и повесила ее в красном углу, где она прежде висела. Велела «Котьке» прибить полочку и еще гвоздик для полотенца. Костя, который прежде обложил бы старуху, а может быть, и икону сорвал, да и выбросил в камин, сжег бы со зла, — молча сделал все, что велела Варвара Борисовна.

А когда Наталья Михайловна стала мыть пол в комнате, старуха взяла у нее из рук ведро и тряпку, и снова, строго так, сказала:

— Кто же велит мыть к порогу. Еще кого *вымоешь*, по-

том рада бы вернуть, да нельзя. Хорошо если меня *вымоешь*, а если, упаси бог, кого еще...

Сказала и стала мыть сама — не к порогу, а от порога.

А после принесла из своей каморки лапы ели — что же, она знала о предстоящей смерти и заранее лапы эти добыла? Или хранила их для своего последнего пути? Костя поднял было одну веточку, но она строго и испуганно крикнула:

— Брось! Болезнь прилипнет. Смерть.

Костя побледнел даже и бросил ветку, попятился от нее, все так же беспрекословно слушаясь старухи. А она снова скрылась у себя и вынесла тарелку с картошкой и жареной котлетой, открытую бутылку кваса, поставила на полочку рядом с иконой и, снова неизвестно к кому обращаясь, сказала, чуть приподняв голову:

— Так-то вот, придет душенька Лександра Максимовича, поест, — помнится, он любил котлетки и квас тоже любил. Вот и легче будет в пути.

А мертвый Бутов почувствовал, что он действительно готов к пути, только неизвестно, куда этот *путь* приведет.

И когда вернулись с похорон, с этого Нового кладбища, — старуха не ездила хоронить, все пока наладила для поминок: миску, из которой обмывали покойника, вместе с водой, честь по чести, как положено со старины, закопала на задворках, где никто не ходит, поставила большую тарелку риса, сваренного с изюмом, на столик прямо у дверей квартиры, и следила, чтобы каждый попробовал, иначе покойнику будет горько; а в каминной во всю длину стола расставила и жареное, и вареное.

Костя оглядел стол, увидел, что водки нет, ни водки, ни вина, подмигнул Дерюгину и они выбежали, да так быстро вернулись с ящиком спиртного, что гости не успели рассестись за столом. Но Варвара Борисовна не своим голосом закричала — ну, что на Степку Дерюгина крикнула, это понятно, не уважала она его, — но и на Костю тоже за-

кричала:

— Вон несите, а то Александра Максимовича вино зальет. Не будет ему пути. До самых сороковин, хоть убейте, ни капли спиртного в дом не допущу.

Костя с Дерюгиным не стали спорить, не сказали даже «тоже суеверие» или как-нибудь иначе, позлее, как непременно сделали бы раньше, а покорно унесли ящик, только выхлебав на лестнице из горлышка бутылки по половине.

И когда все расселись, прочитала шёпотом молитву, — а гости стояли, пока она читала, — перед тем, как всех оделить рисом. И второй раз поднялись, когда она читала молитву, перед тем как зачерпнуть каждому гостю киселя.

4.

А перед мертвым Бутовым между тем одно за другим проходили видения.

Когда-то на фронте он подорвался на mine, был ранен крошечными осколками в глаза и ослеп. И первое время в госпитале он как-то не переживал, не понимал свою слепоту. А потом, ночью, может быть — ночь была все время — девушка-санитарка наклонилась над ним и на мгновение коснулась упругой грудью. И он вдруг понял, что жив. И понял, как это страшно, если он ослеп навсегда. А потом госпитальный врач подвел его к окну и спросил: «Чувствуете свет?». «Н-нет... Кажется... Немножко». Врач осторожно снял повязку, резанула острая боль, Бутов зажмурил глаза, снова через силу открыл, и увидел синь — он стоял лицом к окну, — одну бесконечную синь, бескрайнее, завораживающее пространство сини.

И уже после войны он оглох от последствий контузии; его оперировали, он слышал человеческие голоса, шуршание шин, болезненно-резкие автомобильные гудки, ви-

брирующее гудение ветра, — но в этом не было чуда; может быть, он испытывал даже некоторое разочарование. Но вот он попал в утренний лес — его привезли, — ступил на лесной мох, услышал птичьи голоса, замирающий звон листвы, тонкий, детский, как бы светящийся звук ветерка, затихающего и, крадучись, бок о бок с солнечным лучом пробирающегося между древесных стволов, ветвей, листьев в тайную лесную сень, — услышал пространство звуков; только тогда оно вошло в него.

И теперь жизнь еще оставалась в нем, но открылось последнее пространство смерти; он уже ступил за порог.

Мысли, сменяя друг друга, но не теснясь, наполняли неведомое это бескрайнее пространство. Ему вспомнилось, как профессор Р., уже обреченный — кажется, у него был рак, или что-то иное душило его, — зная, что он обречен, в предсмертной обзорной лекции говорил: «Во всяком обществе есть макроструктуры: начальник и подчиненный, вожак, ведущий стадо, и тот, кто в стаде, тюремщик и арестант, тот, кто никто и кто все. Но вот тот, кто был ничем, становится всем: подчиненный — начальником, арестант — тюремщиком, гонимый — гонителем. Все это происходит как бы в другом измерении. А на земле миллионы и миллиарды микромиров. На земле муравейник, где каждая особь зависит от тысячи других, а тысячи других особей зависят от нее; где дерево погибнет, если муравьи не защитят его от гусениц; где множество семян превратятся в цветы, только когда насекомые вынесут их на свободу и ждущую живой благодати почву. На земле пчелы и пчеломатка, пчелы и яблоневый цвет, шмели и клевер, лист и роса, лист и корни, солнечный луч и открывающийся ему навстречу цветок; почва, пронизанная во всех направлениях бесчисленными подземными ходами; воздух в цветной пряже веяний — от крыла птицы, — крыла бабочки, даже от крыла комара; каждое веяние имеет свое

значение; спокойный неумолчный звон бесчисленных капель-колокольцев.

На земле люди, связанные любовью, родством, дружбой, — человеческие микромиры.

А в нечеловеческом измерении — начальственности цепляются за подчиненности. И никаких шкивов, никаких приводов: в пустоту, в одну только пустоту уходит страшная сила. И рождает ветер. Все сильнее и сильнее дует ледяной ветер, пока не ворвется в земные пределы, расшвыривая человеческие племена, роды, поселения, семьи так же легко, как муравейники.

Ветер последнего одиночества, необратимых разлучений.

Дует он, разлучая любящего с любимой, отца с сыном, друга с другом, пчелу с цветком, лес с птицами, выдувая из старых жилищ семейные предания, пока не останутся лишь голые стены с пятнами сырости; а после сырость превращается в наледь; лед прорастает сквозь стены, как некогда землю прорастали корни деревьев, сами жилища уйдут вглубь земли, но не той, какой она была когда-то в переплетенье корней, а в вечную мерзлоту. Уйдут с людьми, населявшими эти стены».

Р. продолжал свою лекцию, и главная мысль была в ней, что, начавшись рабством — правда, несколько другого рода, — человечество рабством и кончит. С экономической лекция имела гораздо меньшую связь, чем с поэзией, например; вообще, может быть, в душе профессор был в значительно большей степени филологом, чем экономистом... И еще было в ней то, что у слушавших ее, и у Бутова в первую очередь, рождало чувство, будто профессор на все махнул рукой; и это, то, что он говорит, последнее слово не обвиняемого даже, а осужденного уже, обреченного...

Он говорил о строках поэта: «Мой стих трудом громаду лет прорвет и явится весомо, грубо, зримо, как в наши дни вошел водопровод, сработанный еще рабами Рима».

«Устраивает вас эта формула?» — спросил он онемевшую аудиторию. Все молчали, а он, не сделав даже паузы, только сильно вдохнув воздух, продолжал:

— А если попытаться заглянуть в миры поэтов, для которых в стихах сама их суть — «от ночной тишины» и так важно, так необходимо для того, чтобы жизнь продолжалась *человеческой*, «звезду донести до садка на трепещущих мокрых ладонях». Если перенестись мысленно в непроходящее время, непроходящее мироощущение, когда было начертано: «Я памятник себе воздвиг *нерукотворный...*» Как это далеко от сработанного рабами! И еще той же рукой гения: «Свободой Рим возрос, а рабством погублен». Да, погублен, несмотря на исправный водопровод. Не так ли?! И тем же поэтом написано: «Ты царь: живи один. Дорогою *свободной* иди, куда влечет тебя *свободный ум*, усовершенствуя плоды любимых дум, не требуя наград за подвиг благородный». Итак, «*свободный ум*», «*свободною* дорогой». Знаете, мне все кажется, что великий поэт, наш современник, — а что великий, какое может быть сомнение, — оттого и прервал свою жизнь, что рабство не только окружало его, но прокрадывалось в само существо, в исповедальные строки. Погиб, когда нечем стало дышать ему и его стихам. Он был убит задолго до того, как сам — выстрелом — оборвал свою жизнь!

«Теперь, — помолчав, продолжал Р., — как меня уведомили вполне компетентные коллеги... Теперь, если *взяли* даже самого далекого родича или полужнакомого, с которыми ты и встречался раз в год, не чаще, — твой долг, — вот и еще одно непоправимо искалеченное слово, убитое, подмененное, — как же без него жить стихам? Да и без Бога, как же? Как без этих слов написать: «Есть, есть Божий суд...»?.. Итак, ваш долг немедленно сообщить по инстанции (раньше сие называлось проще — *донести*), что такой-то репрессирован как *враг народа*. Не так ли?

Меня верно информировали или ввели в заблуждение? То есть твой долг собственной рукой *утвердить* приговор: «враг народа». Кстати, и это словосочетание не встречалось, помнится, ни у писателей, ни у политиков, допустим, хоть пушкинской поры. Даже Николай I, даже Бенкендорф не называли «врагами народа» декабристов, хотя иные из них и злоумышляли на жизнь царя. Как же так изменился язык? И в столь короткие сроки? И как же писать стихи этими изменившимися, изменившими словами?

Подписывая цидульку, что такой-то ваш родич или коллега — «враг народа», вы исполняете долг лгать, лгать чуть ли не ежедневно, письменно, поднятием руки, а иной раз и «*во весь голос*». Не так ли?! Лгать, даже если *решаете* этим судьбу любимой, друга, брата. Это «чтобы лгать» становится биологическим твоим свойством. Как же писать стихи рукой и душой лгущего, проданными и преданными словами?»

...Может быть, профессор Р. так и не закончил лекции? Может быть, из боковой дверцы выскользнул некто до крайности маленький, карлик почти, и, очутившись перед профессором, сразу и вполне заслонил его фигуру. Так, именно вполне заслонил, что создалось впечатление, будто профессора Р. нет; может быть, его вовсе никогда не было; даже он не мог, не должен был быть.

Кто знает?!

Утвердившись перед кафедрой, карлик сказал, что поскольку лекция да-а-а-леко вышла, так сказать, *за рамки*, ее следует забыть, и легонько дунул. От дуновения записи, которые аккуратно вели студенты в своих тетрадях, разом исчезли; все до одной!

А может быть, лекция оборвалась на середине мысли, незаконченном слове; профессор вдруг мертвенно побледнел и рухнул на пол подрубленным деревом; изо рта его хлынула темная, почти черная кровь?!.. Может быть, и так.

Тогда Бутов пришел из Университета и, не снимая

шапки, не садясь, а, только наклонившись низко над подоконником, написал стихотворение, пожалуй, единственное, которое он впоследствии считал *настоящим*. Было оно о травинке, растущей на краю луга, откуда открываются река, поля, леса, далекие города. И хотя все любят зеленую травинку — солнечные лучи согревают и освещают ее, корни питают, пчелы и бабочки ласкают лапками и усиками, — так заманчива даль, что травинка умоляет землю отпустить ее, просит муравьев и жуков перегрызть ей корни.

И рвется последний корешок, ледяной ветер подхватывает травинку, несет в огромном, все заслоняющем, все поглощающем облаке жесткого перекасти-поля, в тени которого земля мертвоет. И перед концом одно желание наполняет травинку, тоже ставшую жесткой, черной, старой: хоть на мгновение вновь ощутить корни. На мгновение — пусть самое последнее — почувствовать связь с землей, солнечный луч, соки, поднимающиеся по стеблю, ласковое прикосновение бабочки или пусть даже режущий удар косы.

Теперь и Бутова, точно давнее, юношеское это стихотворение было пророческим, подхватил ветер смерти; и, задыхаясь в нем, он почувствовал самое последнее, вероятно, желание — ощутить корни, которые соединяли его с людьми, с землей, хоть бы почувствовать, что они когда-то были.

Были или не были?

...А тогда, дописав стихотворение и даже не перечитав его, Бутов побежал к профессору Р., как-то забыв, что того уже нет. Ему представилось, что, кроме ветра, дующего из другого измерения, из нежили, и в самой земной жизни существуют силы, веления, помогающие торжеству нежили. Профессору почему-то необходимо это знать. И, прочитав стихотворение, Р. нечто узнает именно об этом.

Бутов побежал к профессору, но по дороге встретил длинную похоронную процессию, вереницу траурных машин, и в переднем автобусе увидел — правда, все же не совсем ясно, как сквозь слезы — гроб, обитый красным кумачом, окруженный венками с лентами, на которых сквозь окошко можно было прочесть: «Профессору Р. и т. д.» Но, может быть, это было только видением?

Или уже у самого подъезда дома, где жил Р., Бутова обогнал пестренький фирменный фургон с надписью «Хлеб»; из-за металлических стенок доносились почему-то вскрики, стоны; и среди множества сливающихся голосов он почти явственно различил голос профессора...

...Или он поднялся на пятый этаж и совсем уж собрался позвонить, когда увидел, что дверь запечатана красной сургучной печатью...

...Или...

Но как было на самом деле, забылось — забылось не за долгие прошедшие с той поры времена, а смертью; то, что было на самом деле, вообще быстро забывается; да и какое имеет значение, как именно было на самом деле.

А Бутова тем временем несло ледяное течение; ему казалось, что весь он стал желтым, черным, перебитым, как перекасти-поле. И порой казалось, что он, как и это странное растение, никогда не был вполне живым, обретался где-то *между* живыми, в стороне от них; то он физически ощущал еще даже кровоточащие культяпки, оставшиеся от рук, не тех двух рук тела, а сотен, протянутых от его души к людям, — рвущихся, разрезаемых войной, смертями, предательством, изменами, равнодушием, силой этого ветра нежили, разбрасывающей людские муравейники так же легко и неотвратно, как муравейники обычные.

А потом все оборвалось; но до того, за мгновение до того, в этот последний отрезок времени мысль уже совсем отделилась от Бутова, стала вполне независимой. Она

летела не то чтобы набирая высоту, а ровно — впереди и над головой. И Бутов отставал от нее, чувствуя отчаяние, но еще не безнадежность; отставал, как пассажир от поезда, все еще надеясь вспрыгнуть на площадку последнего вагона.

Что он догонял? С чем надеялся соединиться? Давний детский зов Костика? Давний, чуть светящийся — чем? нежностью или любопытством? — взгляд Натальи Михайловны? Иру, которой уже нет в живых? Тосю? Что-то не определимое словами. То, что догнать невозможно. Тень Р., еще живую в нем?

Был безнадежный бег и нарастающая боль. А потом боль в сердце оборвалась, и Бутов вначале подумал: «Вот хорошо», но не обрадовался, и от отсутствия радости — горя тоже не стало — догадался: «Да я ведь умер, преставился, как говорится!»

5.

Бутов лежал на Новом кладбище; кругом простиралось серое до черноты пространство, которое он ясно видел или, вернее будет сказать — *как-то так воспринимал*, — из-под земли, из-за стенок гроба; пространство без света, без единой капли жизни. Мысль, покинувшая его, когда он упал на пол с остановившимся сердцем и ничего не почувствовав, — вернулась.

Она словно сматывалась с невидимого рулона в тесном пространстве между его телом и крышкой гроба, складка за складкой, как материя на прилавке текстильного магазина, укладывалась на груди его кипой чего-то тонкого и серого, как паутина, громоздилась почти неощутимой, но все же нарастающей тяжестью.

В последний год армейской службы, уже в мирное время, часть, в которой служил Бутов, была послана для

охраны территории, где производились испытания атомной бомбы. Когда все кончилось, рассеялось грозное грибообразное облако и Бутов в специальном предохранительном костюме бежал с донесением по бурой до черноты, серой до черноты земле — к доту, где находилось командование, вдруг *в этом пространстве смерти* — вот когда впервые пришлось встретиться с ним! — он увидел стайку маленьких птиц без единого перышка, пушинки, — общипанных так чудовищной силой взрыва, но почему-то не погибших.

Они двигались, жалобно, почти неслышно попискивая, неверными крошечными шажками, спотыкаясь, слепо падая и снова поднимаясь.

Наклонившись к птицам, Бутов увидел, что они действительно слепы. По сторонам клюва в глазных впадинах колебались мутные, тусклые капельки жидкости — глаза, расплавленные жаром взрыва. Они вспомнились Бутову, потому что в темноте, которая окружала его сейчас, в этой сфере тьмы, тоже мерещились, из тьмы невидяще мутно глядели как бы такие же неживые глаза.

Сама темнота рассматривала Бутова — беспощадно и мертво.

Прямо над головой слышались тяжелые шаги Рыжего и тех двоих — крылатых, в снежно-белом.

— Жалобы, вопросы, просьбы? — спросил Маленький, зябко поводя крыльями.

— Сколько времени я тут пробуду? — отозвался Бутов.

— А это пока, так сказать, кожа-кости, — рассмеялся Рыжий и несколько раз сильно притопнул ногой, словно подтверждая, что выхода из последнего убежища нет и не будет во веки веков.

Главный мельком, неприязненно взглянул на Рыжего и проговорил несколько фраз на непонятном, гортанном и певучем языке.

Маленький перевел:

— Разве усопший спрашивает о судьбе тела своего? Мысль его о душе...

— Какая там «душа», — презрительно отозвался Рыжий. — Разве что душонка осталась. А так...

— Вам не закладывал, — перебил Бутов.

— Мне не закладывал, хотя и это — как сказать... А у другого, у других разменивал! Сколько раз разменивал, скажи на милость?

Главный чуть приподнял длинные, касающиеся болотистой почвы крылья и проговорил что-то короткое, похожее на пение птиц. Маленький перевел:

— Сказано: решение о том, где дано пребывать вашей душе, — не вынесено. И они спрашивают: есть ли у вас какое-нибудь желание — *последнее!*

Слово «последнее» прозвучало мягко, без угрозы.

— Отпустите меня домой! — неожиданно для себя самого сказал или беззвучно подумал Бутов.

— Еще чего захотел, — вмешался Рыжий. — Воскреснуть?! За какие заслуги?!

Главный строго взглянул на Рыжего и, когда тот замолк, сказал на своем певучем наречии.

Маленький переводил:

— Такие случаи были и будут. В одна тысяча седьмом году от сотворения мира муж выгнал жену свою с двенадцатью детьми и взял в дом наложницу — моложе и красивее. Жена его шла и шла по пустыне, именуемой Негев, где обитала голодная волчица с волчатами. Волчица бросилась на детей, женщина телом заслонила их и была растерзана. Когда она уже переступила порог смерти, волчица сказала:

— Каждый день я буду относить волчатам по одному из твоих детей. А ты, мертвая, как мертвы камни пустыни, не сможешь защитить их.

ОН, который там, в высоте, знает, видит и слышит все,

успокоил женщину:

— Не бойся. Дети не погибнут. Я заставлю волчицу кормить детей молоком из своих сосков вместе с волчатами.

Она ответила:

— Если ты сотворишь так, мои человеческие дети с молоком волчицы воспримут и душу ее. В мире станет больше злобы, жестокости, лжи. Нет, я не приму такой милости, — сказала мать.

ОН услышал ее, и в ту же секунду женщина воскресла. Волчица поджала хвост, как побитая собака, и убежала. А у ног женщины забил родник, над головой раскинула листья финиковая пальма. Женщина смогла досыта накормить и напоить детей. А в дом мужа, который выгнал на голод и смерть ее, подарившую ему двенадцать детей, двенадцать побегов на мертвеющем дереве, в проклятый дом вошло несчастье... И еще было так в году две тысячи триста пятнадцатом от сотворения мира, когда...

Рыжий пробормотал:

— Пошла писать губерния. — На укоряющий взгляд Маленького, зло скаля зубы, огрызнулся: — Однако тут не душа, а *душонка*. Душонками распорядиться мое дело.

Главный еще раз взглянул на него, и Рыжий стал отступать и отступать от могилы Бутова, словно под напором беспощадного ветра, пока не воскликнул из последних сил:

— Пусть будет по-твоему!

Только тогда Главный отвел взгляд, ветер замер, а Главный, глядя на могилу Бутова, что-то еле слышно спросил. Маленький перевел:

— Зачем ты хочешь воскреснуть?

— Видите ли, я работал в Институте, — сказал Бутов первое пришедшее на ум.

— Там без тебя не обойдутся?! — подсказал Маленький.

— Нет, не то. Я, видите ли, ушел, уволился, но за мной

оставили руководство аспирантом Степаном Дерюгиным.

— А в каком Институте вы работали?

Бутов попытался припомнить и не смог. Вспомнилось только, что название у Института очень длинное, из шестидесяти восьми букв; так и называли: «Институт шестьдесят восемь». Начальник, бывало, говорил:

— Пойдем в четыре буквы, перехватим стаканчик жидельного. — «Четыре буквы» означало расположенное напротив кафе «Арфа».

По истечении некоторого времени Начальник давал команду:

— Возвращаемся в «шестьдесят восемь». Пора!

— Над какой научной темой работали вы вместе с аспирантом Дерюгиным? — спросил Маленький, опять-таки стараясь помочь Бутову.

Но и тема работы не вспоминалась.

— Видите ли, — сказал Бутов, хорошо сознавая, что говорит постыдное даже. — Мне пенсию определили — сто двадцать рэ. Раз получил и вот...

— Вы хотите воскреснуть только для того, чтобы получить пенсию? — спросил Маленький. — Подумайте!

Некоторое время все молчали, потом Бутов робко сказал:

— Я и не жил еще...

— Как же так, если при рождении вам была дарована душа и дар слагать стихи? И вы просуществовали немало лет. И вы воевали...

— Вот разве что воевал. А потом... А до войны... И после... Нет, не жил. Не сумел. Да и этот год — тридцать седьмой. И все, и все...

— А теперъ сумели бы?

— Не знаю. Может быть. Что с *этой* по-другому; и профессора Р. разыскать — хоть могилу его; и стихи, и с женой, и с сыном — Костей. Надо ведь все по-другому. Не знаю, сумел ли бы... Но это необходимо мне. Без этого нельзя...

Крылатые смотрели на него — оба в сомнении, задумчиво, сурово, но и с некоторым сожалением.

6.

Словно от самых первых мгновений снималась твоя жизнь — день за днем, кадр за кадром. И вот бесконечная лента разрезается кем-то и склеивается уже не в хронологическом порядке, а в следовании лжи, непременно рождающей новую ложь, и правды, так или иначе оплачиваемой новыми страданиями.

В бесконечную ленту *кем-то* вклеиваются образы близких тебе людей; или не близких, но случайно оказавшихся на твоём пути, образы горя или гибели даже, в которых ты пусть и в самой малой мере был виновен.

Но ведь сказано: «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят», — подумал мертвый Бутов.

— Это главный и первый смертный грех — не знать, оберегать себя от знания, притворяться, что не знаешь. И грех этот на земле всегда нечисто оплачивается: жизненным благополучием, сладостью, избавлением от неминуемых страданий.

Бутову открылось, что сейчас говорит не тот ерничающий и кривляющийся Рыжий, приведший его к гибели, а *Некто*, незаметно сменивший Рыжего, как сменяются часовые.

Главный и Маленький молчали.

— Я беру к себе на Новое кладбище только тех, у кого душа опустошена. Беру в смерть, как прокаженных в лепрозорий, — сказал *Некто*.

— Есть только одно способное спасти тебя — совесть. У тебя есть совесть? — тихо спросил Маленький.

— Не знаю. Казалось, что есть, но теперь... Нет, не знаю...

В грифельно-серой пустоте, окружающей Бутова, возникает видение. Это Костик. Мальчику лет десять, не боль-

ше, его окружают ребята, они кричат Костику:

— Покажи, как предок бухой заявляется!

Костик очень похоже показывает его, Бутова, неверную походку, бессмысленную пьяную улыбку. Будь Бутов трезв, он бы понял, что Костик поступает так не со зла, нет еще в нем зла, а потому что он, хилый, слабее всех во дворе, неловкий, одинокий — только и может поддержать свой престиж в безжалостном дворовом мире обезьяньим умением передразнивать, заключающем нечто клоунское, ужасно жалкое.

Бутов должен и мог бы понять, но он опять пьян. И тут тоже можно найти объяснение: стихи из журналов возвращаются; неизвестно, чем и как, а главное — *для чего* дальше жить?!

Но объяснение — не оправдание.

Бутов из окна видит происходящее, сбегает вниз и бьет Костика по одной щеке, по другой. Лицо Костика мертвенно бледнеет, но на нем сразу же снова выступает идиотская пьяная улыбка отца. Шатающейся отцовской походкой мальчик идет к воротам и исчезает за ними.

Уже девять, десять, а Костика нет. Наталья Михайловна выбегает — простоволосая, без пальто. Возвращается она с Костиком около часу ночи. Бутов видит их возвращение и сейчас мертвым своим мышлением все понимает — как же правда могла ускользнуть от него живого? Он понимает — с этого момента и навсегда они не только разные, но и враждебные: жена с Костиком и он. Вот как давно он мертв для них.

Ночью Бутов идет к жене. Она отодвигается, освобождая ему место, не сопротивляется, когда он обнимает ее, но в какой-то момент говорит уже не в первый раз: «И страстью воспылал скопец». Говорит с ненавистью.

Живой он не понял, что она вкладывала в эти слова, а сейчас мертвому все ясно. Он дал ребенку трудную, непо-

сильную жизнь, а того, что сообщило бы желание, радость и силу жить — дать не сумел. Скопец, действительно скопец, кто еще?!

Видение тонет в темноте. И вспоминаются слова шестящего старичка: «Один факт, это когда смиряешься с тем, что твое существо исчезнет в пустоте, не дав побегов. А иной — когда ты излучаешь существенность, самое важное в тебе — другому, единокровному, и он хранит его, доколе очи различают свет, и много позднее твоего жизненного предела».

Тогда Бутов в радости, владевшей им, может быть, и не вполне точно расслышал слова старика, лишь смутно угадал их.

Все было так странно...

А в серой пустоте, где только что был Костик, возникает другое. «Это я?!», «Неужели это я?». Ему, Сашке Бутову, пять лет. Он вместе с матерью на лестничной площадке перед массивной дубовой дверью с пластинкой светлой меди: «Статский советник Илларион Илларионович Грачев». Сашка крепко держится за руку матери. То есть она не родная мать, но от мальчика это пока скрыто. Родная мать умерла от сыпняка, когда Сашке не исполнилось еще двух лет. Вслед за тем на фронте погиб отец, и Сашку усыновила вот эта женщина с длинной черной косой. Больше никого на свете мальчик не имел, но одного существа — только ее.

Мать нажимает кнопку звонка. Проходит очень долгое время, пока дверь приоткрывается — не совсем, на длину цепочки. Из полутьмы прихожей выглядывает лицо старой женщины — Сашка немного знает ее, — Марии Васильевны.

Мать шепчет голосом жалким, приниженно умоляющим, какого мальчик никогда не слышал:

— В город вошли «Дикая дивизия» и банда Григорьева — знаете об этом?! Все говорят — будет погром. Я умо-

ляю вас — вы женщина, вы поймете.

— Нет, нет! Обойдется! — Старуха хочет захлопнуть дверь, но мать просунула в створ руку, крепко сжимающую ручку мальчика. — Нет, нет. Я бы конечно, с радостью, но Илларион Илларионович — он болен, его нельзя волновать.

— О себе я не говорю — только о мальчике. Вы скажите, что это ваш внук. Сжальтесь! Я умоляю. Сквозь слезы она повторяет и повторяет: — Умоляю, умоляю...

— А если обнаружат обман... Нет, нет! Ведь существуют некоторые, — Мария Васильевна беззвучно шевелит губами, подыскивая нужное слово, оно должно быть ясным, но вполне «приличным», — существуют некоторые внешние признаки. Вы понимаете...

— Он не еврей, и он не обрезан. Сашенька не родной мой сын.

— Вы уверены?! — Мария Васильевна нехотя скидывает цепочку.

В последнюю секунду, когда дверь между матерью и мальчиком, самыми дорогими друг для друга существами, закрывается навсегда, мать ловит взгляд мальчика и старается улыбнуться сквозь слезы. Видя ее улыбку, мальчик думает не о погроме — что такое погром, он за свои пять лет успел узнать, — не о смертной опасности, от которой его спасают, а только о том: «как же это у меня нет матери, нет никого *родного*, как же я потерялся в мире?!».

Сейчас в смерти Бутова последнее одиночество только проявилось, а возникло оно тогда, в пять лет.

Началась долгая, может быть, даже последняя эпоха, когда общество будет укрепляться, ужесточаться, но в том, что не касается укрепления общества, а только самого человека, оно все чаще будет оставлять его до конца и безнадежно одиноким, одиноким как в смерти. Снова перед

Бутовым возникли, словно письма в пустоте, слова профессора Р.: «Внешние обстоятельства все в нас определяют, а внутреннее «Я» задыхается еще чуть ли не в пленках. Кто о нем пожалеет, если мы сами не в силах пожалеть его. И в чем мы будем существовать, когда внешнее для нас исчезнет?»

Главный что-то сказал, и Маленький сразу перевел, обращаясь к Некто:

— Он не продавал и не закладывал душу, у него ее с детства вырвали из груди. Как же вы не заметили этого, совершая свой суд?

Некто ответил не сразу:

— Как бы человек ни потерял душу — по своей вине или не по своей, — он мертвит тех, кто рядом, истинно живых.

— Их много на Земле — истинно живых?

— Не знаю... Дети, женщины — те, которых не раздавили, — рыцари правды, — отвечает Некто.

...Прижавшись к замочной скважине, мать шепчет: — Все будет хорошо, Сашенька. Завтра я приду за тобой. Ничего не бойся...

Слышны ее шаги вверх по лестнице. Мария Васильевна тащит Сашку от двери, но он молча вырывается, пока шаги на лестнице не затихают.

Тогда ему становится все равно.

Мария Васильевна втаскивает его в комнату, по которой из угла в угол бегают седой старичок в мундире с эполетами и орденами, темно-зеленом каком-то, не военном. Это и есть Илларион Илларионович. Он прямо-таки вырывает Сашку из рук жены и тащит к окну, где светлее. Он бормочет:

— Это еще надо проверить; потом спохватишься. Да поздно. Это еще, как говорится, бабушка надвое сказала.

Бормочет, одновременно стаскивая с мальчика штаниш-

ки, задирая ему рубашку, и только тогда облегченно вздыхая:

— Слава богу, Машенька, — погляди! А то ведь они всякое могут, когда припрет. Не очень-то им доверяй — хитрый народец.

— Слава богу! — вслед за мужем повторяет Мария Васильевна и крестится.

Как быстро темнеет, темнеет! Издалека, а потом все ближе слышатся крики, звон разбитых стекол. Крики женщин и детей сливаются в одно, что накатывается со всех сторон, неостановимое, словно наводнение. Они врываются и в дом.

Мальчик не спит, но не двигается с места; он неотрывно смотрит в щель между неплотно сдвинутыми порттьерами на черное окно и думает об одном: в мире лишь эта черная пустота, она уже поглотила всех.

— Кто бросит в него камень... — устало говорит Маленький.

— На суде отвечают за все, искупленное страданием и не искупленное, — отвечает Некто.

Мальчик недвижно смотрит в окно, ни на секунду не засыпая, но, вероятно, временами теряя сознание.

Впрочем, в ту ночь никто не спит. А крики постепенно затихают, город забылся, прежде чем вернуться к обычному существованию, наполниться мирными звуками.

Никто не спит.

Некоторые, немногие — ну там, несколько сот или несколько тысяч — не спят просто потому, что они убиты. Другие — потому что переполнены возбуждением, вызванным совершенным на их глазах или даже их руками. Потому что перебирают и пересчитывают награбленное. Некоторым не дает спать ужас перед прошедшим. А еще многие переживают мало известное прошлому счастье, что вот смерть прошла мимо.

У каждой эпохи свое счастье.

И пока мальчик смотрит в щель между шторами, в редакции газеты в большом кабинете один из самых известных политических деятелей и блестящий литератор тех времен пишет статью о том, что происходит.

Работается ему легко.

Он пишет, что если ты человек, то должен встретить смерть с оружием в руках, а когда оружия нет — гордым молчанием, подобно римлянам.

Автор понимает, что карты, пожалуй, несколько переделаны. Кто должен встретить смерть с оружием или как римляне? Женщины, которых насилуют? Дети и старики, которых убивают?

И вот что еще: когда человек отвержен, когда у него отнимают право называться человеком, легко ли — нет, не то — можно ли сохранить человеческую гордость? Когда все на стороне убийц?!

«И ты на стороне убийц?» — спрашивает себя литератор, но мельком, не задерживаясь на этой мысли. И еще спрашивает: «Ну, а почему сотни тысяч мужчин всех национальностей, в том числе и имеющие оружие, не пытаются спасти хотя бы женщин и детей, преградить дорогу кровавой реке?»

Литератор останавливается на минуту и выводит на первом листе новый заголовок, который раньше не давался. Он перечеркивает слово «стонут» и аккуратно, чтобы не затруднять наборщиков и метранпажа, выводит другое: «**Воют**».

Именно не стонут, а воют. Стонут люди, а это... И сразу пропадает обременительное чувство жалости, заменяясь другим — жалости-презрения. И он понимает, что новый заголовок все ставит на свои места. Не люди — чего ж их жалеть...

Илларион Илларионович появляется из соседней комнаты в штатском своем мундире, в фуражке с кокардой и быстро выходит из квартиры.

А мальчик сидит так неподвижно, что Марии Васильевне на мгновение кажется, что он мертв.

Светает, совсем рассвело. Ведь всегда ночь сменяется утром, какой бы она ни была; слышны тархтенье извозчичьей пролетки, цокот по булыжнику, редкие пока шаги прохожих, выкрики газетчиков.

Илларион Илларионович возвращается после прогулки посвежевший, с некоторым даже старческим румянцем на озабоченном лице. Кладет на стол газету с той статьей, наклоняется к самому уху Марии Васильевны и что-то шепчет ей. Она всплескивает сухонькими сморщенными руками и восклицает: «Боже мой! Боже мой!». А после — тише, примиренно глядя на потолок: «Да свершится воля твоя».

— Оставь бога в покое, — раздраженно кричит Илларион Илларионович. — Задним умом все мы крепки, матушка! Что же прикажешь с ним-то делать?

Он сердито смотрит на мальчика, тот улавливает смысл взгляда и встает:

— Я пойду наверх к... маме...

В ту эпоху взрослость, даже как бы старость с ее безнадежным всезнанием сменяла детство иногда даже и не в пять лет, а раньше, чуть ли не в колыбели.

— Я пойду к маме, — повторяет мальчик.

Илларион Илларионович и Мария Васильевна молчат, хотя и смотрят в его сторону, только несколько мимо, или чуть поверх головы, или даже — сквозь него, отчего все существо мальчика проникается ледяным холодом.

Сашка идет к двери. Мария Васильевна нагоняет его и сует в руку карамельку, которую мальчик зажимает в кулаке.

— Съешь сейчас или в карманчик, а то растает, — советует Мария Васильевна, при этом она забегает вперед и долго возится с цепочкой, на которую заперта массивная дубовая дверь, с одним замком, вторым, третьим.

Сашка с трудом, как-то сгорбившись, медленно поднимается на четвертый этаж, где жил с той, что стала его матерью.

...Дверь квартиры настежь распахнута; он идет по комнате, где на полу валяются мамины платья, белье, книги, черепки битой посуды; никого — тихо, пусто, но он не удивляется, он и не ждал другого; осколки стекла хрустят под его старческими шагами. Он ни на что не смотрит, никого не зовет, идет напрямиком к распахнутому окну, словно кто-то заранее указал этот путь. По дороге он обеими руками ухватился за тяжелый стул и с трудом тащит за собой; и это — так, бессознательно, не думая, зачем он это делает.

Вскарабкивается на сиденье стула, оттуда — на подоконник и видит: внизу на тротуаре в красновато-черной луже крови лежит мать — единственный близкий человек.

Смотрит и видит, что день на удивление ясный; значит, он не сразу потерял сознание. Он пошатнулся и падает, но не вперед, а назад — на пол комнаты.

«Может быть, лучше было бы тогда упасть на мостовую», — безразлично думает мертвый Бутов.

Мальчик поднимается, он весь в крови. Это не пугает его, он видел кровь много раз. Просто он при падении сильно поранил о битое стекло лицо и руки. Он рукавом рубашки оттирает кровь и спускается по лестнице; все это он делает медленно, без мыслей, как бы еще не придя в сознание.

На улице он ступает в кровь, расползшуюся по асфальту. Но ужас его охватывает, только когда он, нагнувшись, касается окостеневшей руки матери.

А потом он, обогнув труп, идет по залитому солнцем тротуару — между прохожими, но как сквозь пустоту, подчиняясь людскому течению.

Многие в те времена — и взрослые и дети — шли и жили среди людей, но в пустоте, еще более безнадеж-

ной, чем та, что сейчас окружает мертвого Бутова. И иначе не могло быть, потому что уже давно началась и неизвестно когда окончится эпоха крови и одиночества. Откуда-то появились те, вскормленные волчицей, и начало исполняться то, о чем в древнейшие времена женщина, растерзанная в пустыне Неgev, предупредила ЕГО.

Теперь уже и ОН не в силах ничего изменить.

— Ты писал о том, что пережил в детстве? — спрашивает Маленький.

Бутов молчит.

— Так зачем же был ИМ дан тебе дар, и зачем ОН провёл тебя через все?.. О чем же ты писал?

— Я ведь не один на свете.

— Ты как скупец, у которого полон дом, а он бродит под окнами и выпрашивает милостыню. Ты всегда притворялся?

— Может быть, — с трудом, но и с равнодушием отвечает мертвый. — Меня даже дразнили Будтов.

— Кто?

— Иногда... женщины.

— Которых ты любил? Которые любили тебя?

Бутов молчит. Мертвый, он не знает, дано ли было ему когда-нибудь истинно любить.

— Жди, ОН решит твою судьбу.

Оба белые исчезают.

Некто проводил их взглядом, сделал несколько шагов и остановился над головой Бутова. Тот почувствовал страшную тяжесть; мертвый — живое чувство! — и с трудом сказал:

— За что вы преследовали меня и погубили?

Некто шагнул в сторону, и ощущение непереносимой тяжести исчезло.

— Я вижу тебя первый раз. Но на Земле мои братья. А кроме братьев еще множество *других* — похожих на нас, но нам чуждых и враждебных.

— Как их отличать — *других*?

— Тебе это не понадобится, но я скажу. Они смертны, и они серые, как волки, и людей ненавидят.

— А вы любите?

— Любил, пока миллионы лет назад им не был дарован огонь и они не стали убивать и сжигать себе подобных. Я глядел на пожарища, потому что я должен все видеть и знать; глаза мои стали выжженными и душа — тоже выжженной. Любил людей, пока не умер, хотя и остался бессмертным. ...Странно, кто-то из людей сказал: «Человек — это звучит гордо!» А я спрашивал птиц, зверей, травы, цветы, деревья, даже океан, даже небо, и все отвечали: «Человек — это звучит *страшно!*»

— Вы падший ангел? — спросил Бутов.

— Я не люблю слова «ангел». Они, крылатые, тоже считают: «имя наше звучит гордо». Однажды ОН призвал нас и сказал: «На Земле люди убивают лучших из своих поколений. Надо помочь тем, кто заслужил помощь». ЕМУ ответили: «Мы не хотим на Землю. Люди недостойны участия». Так ответили ЕМУ ангелы, а я молчал, и ОН обратил взор на меня. Я сказал то, что думал: «Твои ангелы хуже людей. Они тоже думают, что имя их звучит гордо, и не хотят помочь истекающему кровью человечеству, чтобы не испачкать белоснежные одежды. А среди людей есть ведь праведники, выходящие на безнадежный бой — один против многих. И есть дети. И женщины, по твоей воле в муках рождающие свое дитя и готовые отдать жизнь за него. Нет, твои ангелы хуже — им не дано самопожертвование».

Выслушав меня, ОН разгневался и повелел:

— Иди, будешь жить среди людей, раз ты так возлюбил их.

Едва Некто умолк, перед Бутовым открылась новая картина: не то пустыня, не то просека. Он не сразу угадывает — да это же университетский коридор, пустой сейчас просто потому, что за всеми из бесконечного ряда дверей читаются лекции, проходят семинары.

Бутов шагает по коридору; ему года двадцать два, ну — двадцать три, не больше. Он движется легким пружинящим шагом и настроение у него *легкое* (это несмотря на то, что календарь числит пришествие последнего пятилетия тридцатых годов, апокалиптических времен, предсказанных откровением Иоанна; но какое ему дело до предсказаний, хотя черед понять их приближается и к нему).

А пока он идет через тридцатые годы, не замечая особенностей этого времени. Им владеет прекрасное ощущение легкости, отчасти по причине молодости, а отчасти оттого, что идет он к профессору Р., которого любит и уважает; да и тот выделяет Бутова из числа слушателей семинара.

И можно ли не восхищаться Р.? Порой во время лекций лицо его становится грозным, гневным, но никогда не сердитым. Оно становится грозным, когда Р. говорит о «пастырях, ведущих человечество в пустыню», пусть и умерших сто, даже тысячу лет назад. Длительность сроков для него ничего не значит. Они в земле, но Р. в другом измерении времени.

Как-то на лекции Р. сказал: «Точнее всего определяет человека амплитуда времени, в котором его дух существует, продолжительность колебания маятника, единственно этому человеку принадлежащего, им управляющего, отсчитывающего его *главный срок*. Есть люди и вообще без главного срока. Время у них измеряется только удовлет-

ворением плотских желаний: был голоден — насытился, желал женщину — овладел ею, хотел разбогатеть и разбогател. В *главное время* все это не входит. Все это — плесень на поверхности времени. И когда плесенный человек умирает, он превращается в *ничто*. Даже не в прах; ведь из праха образуется дерево, травинка, по-иному, на *ином* языке природы выражающие сущность, красоту, пусть при жизни человека никак не материализовавшиеся».

«Есть люди — *ничто*, — говорил Р., глядя поверх голов студентов; скамьи в аудитории поднимались одна за другой, как волны. И за самым высоким полукружьем последней скамьи возникало также плавно изогнутое окно, а за ним глубь бездонной полосы неба. Р. вглядывался в эту полосу, словно видел в ней нечто «непостижимое уму», но очень важное и для его предмета — «Истории экономических учений».

Впрочем, могло быть и так, что Р. глядел поверх голов, чтобы в присутствии ему на лекциях и семинарах состоянии ясновидения случайно не столкнуться взглядом с каким-либо *ничто*; глянешь ему в глаза, и ясновидение бесследно исчезает. А Р. рожден созидателем, а не разрушителем.

— Есть люди с очень коротким колебанием маятника; не увидишь, не уследишь, — говорил Р. — Но какой бы краткости ни было колебание — оно существует. Человек погладил безутешно плачущего ребенка, тот улыбнулся, счастье вернулось к нему, как снова садится на ветку согнанная птица. И все! И если даже ничего больше не вместились в отпущенный срок, сделанное тобой вошло в *главное время* Земли. ... А есть люди с не охватимым взглядом колебанием маятника.

— Вы понимаете? — спрашивал Р. — Вы понимаете?! Нет, вы должны понять. Не сегодня, так завтра это к вам придет. Ничего, если только в старости: жизнь измеряется высшей ее точкой, а не низшей.

Слушая профессора, Бутов всегда сознавал, что у того колебание маятника охватывает все временное пространство, от первого сознательного взгляда первого человека, на Земле появившегося, до прощального взгляда того, кто последним умрет на Земле, так бездарно растрачивающей ей одной дарованную духовную жизнь.

И именно от того, что колебание маятника у Р. — от первого до последнего человеческого взгляда, лицо его становится грозным, когда он вспоминает инквизиторов, опричников, вдохновителей и исполнителей Варфоломеевской ночи — тех, кто убивал именем и во имя Робеспьера, и во имя всех других, во имя Бога и бесчисленных лжебогов, во имя всех, в коих умирала человеческая душа. Все они не там — далеко, а рядом.

...Итак, Бутов идет сдавать любимый им предмет. Он спешит к последней по левой стороне двери «профессорской» — во всеоружии. Совсем недавно вышла монография Р. «Рикардо и Смит». Бутов проштудировал ее, и какой бы ни попался экзаменационный листок, он сумеет сослаться на подходящую мысль из труда профессора, полного мыслей.

Длинный коридор. Очень обыкновенный, но все же сегодня в нем присутствует некая *странность*. А уж родившись, слово «странность» само собой перевоплощается в другое, близкое по созвучию «*страшность*».

— Таково уж свойство слов, — говорил как-то Р., — они живые. И могут перевоплощаться в нечто новое и несходное с первоначальным их значением, ну, как гусеница перевоплощается в бабочку. Но это если брать совсем реальные параллели. А сейчас уместнее другое: ну, допустим, как гусеница на твоих глазах превращается в ядовитую змею. Слова перестают подчиняться тебе, а сами тебя подчиняют; они теперь опасны. Слова диктуют свои условия; попробуй не выполни! Они не управ-

ляются тобой, а тобой управляют; бесплотные и невидимые существа слов обрушиваются на тебя подобно лаве. Они по произволу выхватывают из близкого или далекого прошлого то, что так хотелось бы забыть; преграждают путь к забвению. Они предсказывают будущее, которого не предотвратить...

Страшность, беспощадность, страх... Бутову эти слова напоминают ночь, когда он потерял мать и детство окончилось.

Окончилось в пять лет.

Может быть, оттого, что в коридоре темновато, вспоминается самая черная ночь жизни.

Ночь, описанная в статье «блестящего литератора» прежних времен. Бутов впоследствии часто перечитывал в публичной библиотеке этот газетный подвал и жадно слушал рассказы более взрослых очевидцев тех событий, стараясь понять нечто, не дающееся сознанию, что имеет прямое отношение не только к его, Бутова, далекому прошлому, но и к будущему чуть не всего мира.

...Тогда сквозь слитный человеческий крик, стон, призыв о помощи, как пожар неудержимо со всех сторон города приближающийся к центру, звучал еще неумолчный медный звон. Благовест? Ведь слова «горевест» не было и нет. Звук словно бьет в литавры, словно смерть и еще более страшное, чем смерть, приближается в некоей противоестественной пляске.

Стон — оооо! — до бесконечности, и — бом-бом-бом — удары металла по металлу. Литавры? Набат?

Тогда люди разделились на имеющих право жить и евреев, этого права лишенных. И в еврейских кварталах города, между богатыми домами и многочисленными тесно сгрудившимися жилищами бедняков как бы разом исчезли или сделались невидимыми — заборы; они нужны, чтобы охранять благополучие, а сейчас, перед смертной

бездной — к чему они?

Тогда люди разделились на вооруженных и невооруженных; невооруженные пытались защититься хотя бы кочергами, чугунами, если уж нет пуль и снарядов. Тогда многие сотни тысяч повторяли одно — про себя, а иногда и вслух: «Нас это, слава богу, не касается!»

— А что сделали вы, пришедшие на Землю, чтобы спасти тех, у которых живые души? Что сделали для того, чтобы спасти ту, которая была моей названной матерью? Ведь не было человека с душой более светлой... — спросил мертвый Бутов у Некто.

— Спасти убиваемых мог только ОН. А ОН не знал, что творится на земле. А может быть, и так: ОН считал, что если люди не способны спасти самих себя, мужчины — защитить своих женщин и детей, если так, то какое право на существование имеет человечество?! Пусть останутся лошади, олени, муравьи, птицы, все те, кто не поедает друг друга, все те, на которых нет зла. Поняли, Будтов?

И еще Некто сказал: «Страх входил как главное в жизнь не одного большого города, даже не одной великой страны, а всего человечества. Кровь была и за спиной и впереди — во веки вечные. Куда он исчез, Тот, «в белом венчике из роз», настолько необходимый миру, что Он не мог не явиться? Был расстрелян ночным патрулем? Узнанному или не узнанному, судьба Ему предстояла одна. Впрочем, все двенадцать ведь были убиты: те, которые шли за Ним, которым Он Сам показывал дорогу. Только горе в этой стране перелетало невредимым из поколения в поколение; и не было ему конца на земле».

...Страх входил в жизнь всего мира, чтобы больше никогда его не покидать. И самому «блестящему литератору» придется несчетное число раз обмирать от смертного ужаса и выть, выть в безнадежности, как голодный пес; про себя выть или вслух — не так уж важно. И те из банды Григорье-

ва и из «Дикой дивизии» будут в свой срок уничтожены еще при жизни одного поколения, вместе с украинским, кубанским, терским, амурским и всеми другими казачествами, вместе с половиной крестьянства крестьянской страны.

Вглядитесь — вот они, ледяные трупы женщин и детей, валяются где-то в тундре — даже волки сыты и не трогают их в тундре, куда их привезли и бросили. В самом деле: «мело, мело по всей земле во все пределы...» Прислушаемся к мертвой метели! В одном стихотворении есть прекрасная строка: «жить с правдой, как с ребенком на руках»; а я своими глазами видел женщину с закутанным в лохмотья замерзшим трупиком ребенка, которого она нежно укачивала.

Это было время, когда правда гибла во льду и в огне.

...Пора напомнить, что все тут излагается не в привычной для живых временной последовательности. Лента, тем, незримым, снимавшаяся секунда за секундой, разрезана на множество частей и заново склеена не так, чтобы день ко дню, а — ложь ко лжи, правда к правде, предательство к предательству; иначе как бы ей служить показанием на страшном суде?

И, кроме того, тот, кто записывал и расшифровывал эти показания, Алексей Теплов, военный друг Бутова, очень торопился — причины будут разьяснены — и выбирал из множества случившегося лишь то, что при беглом взгляде представлялось самым необходимым. И я, кому совершенно случайно после смерти Теплова попала эта тетрадь, — невольно вношу некоторые свои разьяснения к тому, что кажется смутным.

...Самым главным была — кровавая река. Она заливала один край за другим, одно сословие за другим, народы — один за другим. Может статься — река была подземной, а вот вырвалась на волю. Ну и теперь льется всегдашним половодьем. Только-только Икс-младший тиснул в вечерней газетке заметку, что отрекается от Икса-старшего и разрывает

с ним и с матерью своей всякие связи. И только-только отец и мать отправляются в северном направлении, куда пароходы с баржами на буксире идут вереницей, переполненные; люди в них навалом, как малоценная древесина. И обратно пароходики с опустевшими баржами мчатся с невозможной быстротой за новым грузом человеческой древесины.

Пока происходит все это, в редакцию той же газетки являются братья, и двоюродные братья, и троюродные сестры, самые верные друзья и подруги Икса с покорнейшей просьбой поскорее поместить платное объявление о том, что они порывают с Иксом-младшим, — тоже, несмотря на печатное отречение, репрессированным вслед за родителями; порывают, разрывают, а из этих разрывов, как из наотмашь перерубленных артерий, хлещет кровь, вымывая последние остатки человеческого.

...Знал ли студент Александр Бутов о том, что творилось в стране? Если и умудрился не знать, то только по той причине, что, закрыв глаза, ничего не видишь; а увидев даже краешком глаза — как же жить?!

В Университете у Бутова был близкий друг Олег — старше его, аспирант уже, когда Бутов учился еще на втором курсе. Девчонки были чуть ли не поголовно влюблены в Олега. И вот вдруг в середине учебного года Олег исчез. Вернулся только перед весенней сессией. Что-то изменилось в нем за время отсутствия; что же именно — Бутов не понимал. Подсказала одна из этих влюбленных девушек:

— Он погасший!

— А ведь ты говорила, что его глаза как изумруды?!

— Так было, а сейчас глаза погасшие.

Бутов взгляделся и увидел, что девчонка права.

— Какие глаза? — переспросил Некто Бутова.

— Выжженные, пустынные, — ответил Бутов.

— Нет, не выжженные и пустынные, а просто пустые;

и это от того, что он стал одним из них, — угрюмо сказал Некто.

О том, где он был и что делал, Олег молчал. Редко вырывались одна, две фразы.

Раз он сказал:

— Работал на коллективизации.

Раньше он ходил в старой кожаной тужурке, а вернулся в лисьей шубе.

— Откуда у тебя она? — спросил Бутов.

— Там много валялось брошенного, вот я и прихватил. Не пропадать же добру.

—... Того, кто раньше ходил в этой шубе, — он убил, — сказал Некто.

8.

И Бутову привиделось: как-то раз он заблудился в горах Карадага и давно заброшенной тропой вышел к склону ущелья. Там был поселок — два ряда глиняных строений и ни одного живого человека. Поселок был наполовину погребен песком, мелкими камнями, отвердевшим потоком селя. В одно строение удалось заглянуть через верхнюю треть окошка. На стене висел яркий палас. Он подумал тогда: пройдет немного времени, и поселок совсем скроется из виду. А еще через какой-то срок его раскопают археологи. И на воздухе палас выцветет, распадется. Археологи будут думать, какая это была цивилизация, родившая такую красоту, и отчего она погибла.

И вдруг в вымершем поселке к нему, Бутову, подошла грязная старая собака; пегая с проплешинами — кое-где шерсть выпала, кое-где свалялась, как войлок. Она не одичала с той поры, когда отсюда вывезли жителей поселка. В ней, давно питавшейся как зверь, осталась любовь к человеку. И хотя запах Бутова был, вероятно, не похож

на тот неповторимый запах ее хозяев, но время съело различия; все-таки — человек. Она жалась к ногам Бутова, повизгивала, скулила, махала хвостом, и все это переводилось:

— Вот и хорошо. Вот вы, люди, вернулись. А я охраняла ваши жилища. Где вы были? Бродили по свету, пока не поняли, что в мире нет ничего лучше наших гор и нашего ущелья? Глиняных хижин, которые вы — люди со своими предками, и мы — собаки со своими предками, обживали и согревали столько поколений?!

Когда Бутов пошел из ущелья, собака поплелась за ним, проводила до последней хижины и недоуменно смотрела вслед ему, уходящему. Она осталась сторожить — ведь в этом было ее предназначение.

—... Они никогда не вернутся, те, кто изгнан из этих хижин. Иные умерли, но до последнего мгновения в их памяти был образ горного поселка — их родины; другие скоро умрут, но никто никогда не вернется, — угрюмо сказал Некто.

...А Бутов — тот, молодой — шел и шел по коридору. И время растягивалось. Оно растягивалось, как мехи некоей чрезвычайно странной гармошки. Странной именно бесконечностью своего звучания, которое все резче, отчаяннее, по мере того как он идет по коридору. Это живое время его жизни растягивалось в иное, мертвое время самосуда, долженствующее вместить столько картин, свидетельств, мыслей — непонятно как, но очень крепко связанных между собой. Они теснятся — эти картины, просвечивают одна сквозь другую под неумолкающий стон мертвого времени.

И Бутову видится тундра.

— Почему же вы раньше не открыли мне все, что я вижу сейчас? — спрашивает Бутов у Некто.

— Зачем? Ведь это происходило на глазах у всех, — ответил спрашиваемый. — Шаги по лестнице к обреченной квартире явственно доносились в другие квартиры, чей черед непременно наступит, только не сегодня, а в одну из следующих ночей. Их слышали во всех домах, во всем городе, во всей стране, как слышали стон убиваемых и насилуемых в том большом городе твоего детства. Слышали и прятали головы под подушку. Слышали, чтобы через день или через год, самое большее через поколение — забыть.

Ведь ты тоже наутро прошел мимо непогребенной матери!

В темноте возникает в одном из тех серых пузырей женщина с длинной черной косой, лежащая неподвижно в луже крови, растекшейся по асфальту. И слабо доносится из пустоты ее голос, той, которая — единственная в мире — истинно любила Бутова; даже теперь она пыталась защитить его:

— Я была мертва, совсем мертва, мой мальчик. Хоть обо мне не печалься, тебе и так тяжело. Я боялась одного... Да, когда я вырвалась и поднялась на подоконник, когда прыгнула уже: боялась, а вдруг я не разобьюсь до смерти, останусь живой; мне уже нельзя было быть живой. А вышло так хорошо. Ты же не видишь моего лица, а только косу. Помнишь, ты любил, когда я распускала волосы; ты прятался в них, как в шатре.

...Несколько минут, или лет, или столетий — какая разница, — царил тишина. Это потому, что, когда прозвучит голос святого или святой, все должны замолкнуть,

пока сказанное не вращет в дух и плоть Земли — или отторгнется землей. Такова ЕГО воля.

Все молчало, а пространство вокруг еле заметно светлело или просто становилось шире.

Когда время прошло, Бутов спросил:

— Но почему вы не дали мне вместе со знанием еще хотя бы год? Я бы жил иначе.

— Я и братья мои должны изгонять разменявшихся, тех, которые с душонкой, а не душой.

— И я из тех? — спросил Бутов.

— Суд только начался, и видеть будущее нам не дано. Приговор себе ты вынесешь сам, не сразу и не зная, что вот это твое слово, твои видения войдут в приговор и все решат. Пойми: человеку дарованы не одна, а две жизни, он осужден не на одну, а на две жизни. И от того, как он сумеет пройти через вторую — жизнь воспоминаний, — зависит его будущее в смерти.

Когда Некто замолк, очень издали донесся шепелявый, запинаящийся голос Р.:

— Вы понимаете?! Каждый обязан это понять. Пусть даже только к старости, пусть даже после смерти. Те, кто поймут...

— Воскреснут? — спросил Бутов.

— Нет, нет! Но они превратятся в травы, цветы, деревья. А те, кто не понял, — они исчезнут в ничто.

— И вы исчезли в ничто?

— Нет, нет! Каждую весну мой прах дает жизнь голубому перелеску, который цветет неделю; у нас весна очень коротка. Но это так много — неделя под солнцем. А после цветков поедает олениха, и я становлюсь ее плотью, молоком, которым она поит свое дитя. Вы поняли?

— А если взглянуть на жизнь с высшей точки? — после долгого молчания спросил Бутов.

— А у тебя она была — высшая точка?

— Не знаю... Может быть, в войну, когда на фронте?!.. Нет, не знаю. Во всяком случае, на фронте никто из нас не лгал; мы были свободны от вечной «повинности лжи»... Или там только почти свободны?!

10.

Мертвому Бутову снова видится: он идет по тускло освещенному пыльными плафонами коридору. Было ли это до той обзорной лекции или после — вспомнить он не может.

...Он торопится. Ему предстоит досрочная сдача экзамена по курсу «История экономических учений».

Задумавшись, Бутов почти наталкивается на Р., который стоит посредине сумрачного коридора.

— Я опоздал? Вы уходите?

— Что вы!.. — Р. подносит палец к губам и продолжает почти неслышным шепотом. — Я специально ждал вас, чтобы предупредить о некоторых существенных обстоятельствах... Я, видите ли, освобожден; несколько странное производное от «свобода», но ведь не одному этому слову приходится переучиваться, не правда ли? Меня освободили от заведования кафедрой. Вы понимаете — из брахманов перечислен в «неприкасаемые». Но права принимать зачеты пока не лишен. Все-таки, может быть, благоразумнее пойти к другому преподавателю... Контакты с нашим братом «неприкасаемым» не очень поощряются.

— Что вы, — быстро и горячо возразил Бутов. — Поступить так значило бы... Нет, нет!

— Признаться, мой мальчик, я был уверен, почти совсем уверен, что вы примете такое... неблагоразумное решение. Что ж, «пойдем искать по свету...». Может быть, в апартаменты любезной Марфы Степановны; там ведь, помимо метлы, помнится, наличествуют еще столик и та-

буретки?! Нам парадные покои без надобности...

Профессор круто повернулся и пошел вглубь коридора. Бутов следовал за ним, однако все больше и больше отставая. И отставал он, как виделось нынешним бесстрастным мертвым сознанием, не случайно. Произнесенное сгоряча: «что вы, что вы профессор, это было бы...» — с каждым шагом, вернее сказать, с каждым шажком улетучивалось и забывалось. Теперь то, что сказал Р., потрясло Бутова. Страх нарастал, как снежная лавина, покрывая все человеческое. Сын своего времени, он усвоил, что общество живет по физиологическому закону «все или ничего»; именно это как-то сказал ему Р. Раз начавшееся — доводится до конца; значит, судьба Р. — окончена. Бутов занят своим открытием, но минуте не больше. Минуту он *примеривается* к открывшимся обстоятельствам — и примеряется к ним с быстротой, его самого удивляющей. Да и о чем долго раздумывать: обострение идеологической борьбы и т. д.

И ведь много раз виделось во сне нечто подобное именно по отношению к Р.; не могло это быть случайным. Инстинкт предупреждал. А последнее время уже не только инстинкт — появился рад заметок в университетской многотиражке и в центральных газетах... Нельзя не понимать опасность встреч с профессором, несвоевременность затеи с досрочной сдачей экзамена. Тем более что профессор имеет обыкновение, кроме отметок, заносить в зачетку отзывы: «Вы прекрасно мыслите!»; «Идите той же дорогой!», и т. д. Впишет Р. что-либо подобное, — а он обязательно впишет, — потом иди доказывай.

По мере того как *зрели* — и с огромной быстротой — эти несложные соображения, Бутов, бессознательно еще, все замедлял и замедлял шаги. И стыда при этом не чувствовал. Были только следы какой-то неловкости, сразу тонувшие в простой мысли: «а кому это на пользу — лезть в петлю?!»

Р. тем временем остановился у маленького закутка в конце коридора, где висел на крюке красный огнетушитель, к стене были прислонены принадлежности труда уборщицы — метла и мусорное ведро с совком, и стояли табуретки.

— Попрошу, — приветливо, почти весело сказал Р., оглядываясь на Бутова, остановившегося шагах в пятнадцати.

— Нет, нет... Я не очень хорошо себя чувствую; я не успел проработать необходимый материал. Да и зачетка проклятая запропастилась.

Бормоча это, Бутов пятился мелкими шажками, потом повернулся и побежал; этого ему не суждено забыть ни в жизни, ни в смерти. Р. сделал несколько шагов вслед, не сразу поняв, что же это происходит, и пытаясь догнать любимого ученика; или его толкали другие причины? А Бутов, слыша робкие шаги, бежал все быстрее и быстрее, пока не выбрался из коридорной тьмы на ярко освещенную солнечным светом лестничную площадку, пока не сбежал вниз по лестнице на улицу.

... Там, над ледяной тундрой, поднимается из-под земли Р. Бутов сразу узнает его по милой застенчивой улыбке; то виден один череп, то лицо, замученное, но с этой улыбкой. И у Бутова странно живое для мертвого горькое чувство, что Р. непереносимо больно воплощаться, возвращаться оттуда.

А Р. невнятно — у него выбиты зубы — говорит:

— Знаете, коллега, я догонял вас тогда — вы помните, в Университете, только для того, чтобы сказать: «Еще петух не пропоет — и вы, именно вы окажетесь среди тех, которые предадут меня».

— Я не предавал, — говорит Бутов.

— Неважно, совсем неважно... А знаете, этот эпизод был очень уместен именно для меня. Наблюдая ваше бегство, я все понял. Впервые, как это ни странно, полностью

осознал свое положение; ну и поспешил домой, успел еще сжечь некоторые бумаги — знаете, «игру в слова». Это насколько не помогло, как видите, но все-таки я сделал все возможное.

И Р. исчезает. Снова тихая, такая тихая тундра, тишина, тысячи или миллионы могил, над которыми нет даже холмика; бесшумно промелькнет тень полярного волка, пробежит олень, песец, пройдет охотник в мягких торбах на широких лыжах. Так все мирно, нетронуто...

...В пустоте возникает еще одна сцена, произошедшая незадолго до той, в коридоре Университета. Бутов признается Р., что мечтает перевестись на филологический и посвятить себя поэзии. В ответ Р. произнес длинный монолог, внешне спокойный, но внутренне пламенный — иной формулы не подберешь:

— Я пытаюсь отговорить вас, — закончил он, — не только потому, что жаль потерять хорошего ученика. И не потому, что сомневаюсь в истинности вашего поэтического призвания; тут я плохой судья. Само время не «трудновато для пера» — а невозможно; это очевидно для каждого внимательного наблюдателя. Вы не согласны со мной.

— А Пастернак, Мандельштам, Ахматова, Гумилев, тот же Маяковский?! — возразил Бутов.

— Пастернак, Мандельштам, Ахматова, Гумилев из другого столетия — девятнадцатого, а может быть, даже из восемнадцатого. Они заблудились во времени. Вы понимаете! Они опоздали родиться... Да, да, — подумаем хотя бы об Анне Андреевне Ахматовой. Помните ее строки: «Но я предупреждаю вас, что я живу в последний раз». Разве это не звучит как набат, как предостережение человечеству — не из жизни даже, а почти из смерти, уже исполнившейся. Поэт может быть и не прав в своем скорбном прощании с землей. Ей, «плакальщице дней минувших»,

придется вернуться в последние дни Земли. И печальный одинокий голос ее, в котором звучит гулкий, из золота и серебра, незримый колокол, разольется повсюду, где земля залита кровью — поверх кровавого моря, даруя вечный покой одним из тех, кто этот голос услышит, и вечную муку другим.

— А Маяковский? — как-то неохотно спросил Бутов.

— Он, конечно, из двадцатого века. Но ведь убит именно этим своим страстным любимым временем.

...Разговор оканчивался в Университетском садике, который неторопливо пересекал человек в темно-сером костюме, с большой, проросшей черным волосом бородавкой на левой щеке; один из тех, которые вскоре будут решать судьбу Р. Бутов ощутил неясное беспокойство, когда темно-серый сел на скамейку неподалеку.

— Вы не опасаетесь? — кивнув в сторону темно-серого, еле слышно спросил Бутов.

На лице Р. появилась странная — его, милая, а сейчас как бы и обреченная улыбка.

— Мы ведь всегда втроем, — ответил Р. — «Я, ты и государство», «я, ты и партийная линия»; «я, ты и соглядатай»; даже: «ты, она и бесплотное, но существующее — личная жизнь»: странное понятие, в котором, как в болоте, потонула любовь, дружба, верность, милосердие. Не так ли? О чем же писать, если все это потонуло? Объясните мне? И какими словами писать?

Бутов молчал. Никогда еще он не любил так полно и восторженно своего профессора. И никогда прежде раздражение против легкомысленного поведения Р., поднимающееся снизу, из темноты, не из самой ли преисподней — ведь у каждого своя преисподняя, — не ощущалось так остро. «Зачем Р. говорит громко? Кому он бросает вызов?» Бутов втягивал голову в плечи и изо всех сил напрягал шею — от этого возникал и охватывал его, защищал

гул, несколько заглушавший голос Р.

Но ведь мнимый этот гул не спасал от темно-серого.

Неожиданно для себя Бутов громко сказал, почти прокричал:

— Но я с вами, профессор, не согласен!

Темно-серый мельком взглянул на Бутова и снова вперился неподвижным взглядом в блеклое совершенно пустое небо, выжженное надвинувшейся неожиданно летней жарой. «Взглянул все-таки. И не забудет! Он-то запомнит!»

От этого «не забудет» Бутов почувствовал некоторое подобие радости, шаткую успокоенность; но и позор вошел в его душу, как оказалось, уже распахнутую для стыда и позора.

— Вы трус! — сказал Некто мертвому Бутову. — Как же вы смеете думать, что тогда у вас была еще живая душа?!

«Да, я поступил как предатель», — вполне понимая, что и это признание войдет в приговор, безразлично к себе подумал мертвый Бутов.

...А там, в видении прошлого, профессор продолжал свой монолог.

— Слова расшатываются в самой основе. Из чего же строить стихи?! «Уклон» в старых словарях — интереснейшее и поучительное чтение эти старые словари; так вот, в прежнее время уклон — угол, на который предмет откатнулся — вполне безобидно. Или еще: отклонить от кого-то удар или бедствие. Слово сражается за правду. А теперь само слово «правда» обрело столько прилагательных, меняющих смысл его на противоположный, вообще лишаящий его смысла. Прекрасное, сказочное «кривда» — вымерло. Какое злое понимание приобрело сегодня понятие «уклон» — все мы знаем. Не так ли?! «Репрессивные меры», произошедшие от французского «репрессалии» и до последнего времени нашим языком почти не приня-

тые, означали «меры принудительные и притесняющие». А теперь «репрессирован» почти всегда уясняется другим словом — «расстрелян». Слова сходят с ума, ожесточаются.

Бутов беспокойно переводил взгляд с Р. на темно-серого и обратно; профессор не замечал этого или не хотел замечать.

— Лучше поговорим позднее, в другой раз, — почти умоляюще сказал Бутов.

— Зачем откладывать, — возразил Р. снова с мягкой своей, милой улыбкой. — Вы ведь не торопитесь на свидание...

— Нет.

— Ну и я никуда не тороплюсь. Да и как откладывать разговор, если вы, как я слышал, уже подали заявление о переводе. Ведь так?

Бутов кивнул.

— А вступая на новый путь, да еще и такой трудный, героический, необходимо ясно определить себе, в чем суть этого понятия — поэзия?! Не так ли! Чтобы стихи родились, надо иметь право сказать о себе: «Я не рожден, чтоб три раза смотреть по-разному в глаза!»... Но это определение принадлежит поэтам, заблудившимся во времени, живущим среди нас пришельцами из прошлого, чтобы бестрепетно принять все муки века нынешнего.

Р. вдруг встал и быстро ушел, только кивнув Бутову.

11.

Пространство вновь заполняется иным. Ветер войны врывается в мертвое сознание Бутова; а кругом еще самый что ни на есть мирный пейзаж; до чего же тихо. «Покой нам только снится...» Потом будет вдоволь времени помечтать: пусть бы хоть на секунду приснился нерушимый покой. Чтобы вспомнить, какой он есть. Чтобы на проща-

ные убедиться, что он может быть, во всяком случае — мог быть.

Тихо. За палисадником одноэтажные домики; в окнах немногих из них, несмотря на поздний час, горят лампы, и свет, пройдя сквозь древесную тесноту листьев, кружевами ложится на землю. Кто-то целуется: может быть, это сильнее даже войны, хотя так беззащитно и хрупко. Любовь торопится. После бесконечного поцелуя, от которого захватывает дыхание, — кажется, в нем можно утонуть, — быстрый шепот:

— Я даже не знаю, как тебя зовут?

— Ленька.

— По правде?

— По правде! А тебя?

— Света!

И снова бесконечный поцелуй. Он не может медлить и медлить, на это не осталось жизни.

— Ты мне напишешь?

— Да... Если буду живой.

— Не смей так говорить. Ты не погибнешь, не погибнешь. Ты вернешься ко мне?

И снова:

— Да... Если буду живой.

— Ты не погибнешь! Слышишь? Я знаю. Ты вправду вернешься ко мне?

— Вправду!

Вот что можно услышать в эту ночь.

Где-то на другом конце улицы гармошка начинает и начинает, то и дело обрывая изматывающую душу грустную песенку; ни слова ее, ни название не вспоминаются.

Н-ская дивизия формируется в селе Глухово, в нескольких десятках километров от Новосибирска и в нескольких тысячах от войны.

Тихо. Слышится, как вдруг согнулись под тяжестью

тел, под тяжестью любви травинки, потом распрямляющиеся, и отдыхают в прохладе ночи, как коротко хрустнули, словно ахнули, сухие веточки, зашуршали листья, уже начинающие опадать.

«Поцелуй был, как лето...» Лето приближается к концу. Слышен нежный девичий шепот:

— Не надо... Умоляю тебя, Ленечка... Не сейчас...

Но и она, и он, голоса которого не слышно, только стук сердец и жадное жаркое дыхание, они знают, что «после» не суждено, только «похоронка».

Все мчится, летит, вот-вот минует самое важное, для чего жизнь. Почему же парочек так мало в беззвездной, готовой каждого укрыть ночи, когда прохлада опускается с неба, навстречу горячему дыханию накалившейся за день земли?

— Один? — слышит Бутов сквозь распахнутое окно соседнего домика.

— Вроде.

— Что ж ты, парень, тушуешься?

— Да как-то так...

Голос отвечающего Бутов сразу узнает. Это Глеб Камышин, самый маленький во второй роте, которой Бутов командует, — левофланговый. Маленький не только ростом, а вообще — мальчик еще: только со школьной скамьи. Да и вся дивизия укомплектована мальчишками. «Детский сад», — говорит полковник, командующий дивизией.

Вот потому-то и ходят одни — что еще мальчишки, еще не знают: как это; если и знают, то только то, что в стихах, в неясной мечте, в пошлых анекдотах, в бесстыдно унижающих снах, от которых просыпаешься в холодном поту.

Потому и ходят одни всю эту, может быть, последнюю мирную увольнительную. А рядом за темным окном, или даже ближе — в палисаднике за невысоким штакетником,

по другую сторону дерева, к которому ты прижался, чтобы умерить головокружение, совсем рядом суженая твоя — однолетка, девочка. Только протяни руки.

Ее раскрытое перед тобой, ждущее тебя тоненькое тело согревает дерево; и ты чувствуешь ее тепло, не зная этого, — соединенный с нею и разъединенный древесным стволом. От ее сердцебиения волна за волной по дереву проходит дрожь, как по натянутой струне; ты слышишь стук ее сердца, не сознавая, как во сне. А дыхание она за-таила. И так больно — там внутри, под кофточкой, под затвердевшими грудями. Это все, что суждено тебе и ей. «Поцелуй был как лето, он медлил и медлил...» Не было и поцелуя, а завтра ночной марш-бросок, а через столько-то недель или дней — эшелон в войну.

Многое множество ее подруг, — может быть, и она, — станут вдовами, не быв никогда ни женами, ни невестами, ни любовницами. Дерево держит тебя и ее. Оно много старше и мудрее и знает всем — стволом, корнями, листвой, семенами, им рожденными, — что это и есть предназначение всего живого: оплодотворить и одарить любовью. Как страшно, если суждено только убивать. Оно знает все, но молчит, только еле слышно шумя ветвями и листвой.

А ты не знаешь, что она рядом.

Ты собираешься с силами и как бы отталкиваешься от дерева, идешь в ночи, не зная, что ты оттолкнул от себя. Только когда твои шаги замрут вдали, она переведет дыхание, вытрет лицо, мокрое от слез, и долго, долго, даже до конца жизни будет ждать. И в ней будет звучать молящее и прекрасное, и так трудно осуществимое: «все-таки постарайся вернуться назад», что сейчас еще беззвучно и чему только предстоит через годы, когда поэт вместе со своим поколением отвоюет, стать словами: псалмом? молитвой? «Не жалейте ни пуль, ни гранат, не жалейте себя, но все-таки постарайтесь вернуться назад». Эта мо-

литва заменит казенное, залихватское, похожее больше на проклятье, так точно впитавшее суть времени: «... если смерти, то мгновенной!»

Глеб Камышин все еще стоит за палисадником. Своим командиром он гордится, любит его, что не выражается словами, но известно всему личному составу подразделения. Гордится и любит оттого, что Бутов уже был на фронте, получил тяжелое ранение в первые дни войны, и вот выписался из госпиталя, вернулся в строй; оттого еще, что Бутов пишет стихи; от неутолимой детской потребности любить и гордиться любимым. Оттого, что у Бутова нет ни матери, ни отца; и Глеб сирота. «Вот бы такого отца, как Бутов», — думает Глеб Камышин, про себя ведь можно помечтать.

У Камышина из родных только старуха бабушка Авдотья Степановна, проживающая севернее Вологды в селе с необычным названием Пригожее.

Бутов недавно написал ей благодарность от имени командования за то, что она воспитала «отличника боевой и политической подготовки».

Он вызвал Глеба Камышина, прочитав письмо вслух, положил в конверт и хотел заклеить. Тогда Камышин, по-детски покраснев, взглянул на стол, где лежал только что принесенный полковым фотографом лист маленьких фотографий для удостоверения, и попросил:

— Подарите одну!

— Зачем?

— А бабушке?

Бутов отрезал снимок и передал его Камышину. Тот что-то долго и старательно писал на обороте фотографии, а после, попросив разрешения, сам положил карточку в конверт.

— Все? — спросил Бутов.

— Стих обещали.

На столе несколько экземпляров дивизионной многотиражки. Бутов вырезал балладу «Солдаты» и протягивает Камышину.

— Тоже бабушке?

— Так точно, товарищ старший лейтенант.

— На узел связи! — командует Бутов, улыбаясь забавной мысли: «Вот ведь первое стихотворение и первая фотография, которые он дарит женщине».

12.

И снова видения наполняет вторая половина тридцатых годов.

Однажды пришла племянница Р., которую Бутов видел и прежде, когда бывал у профессора. Молоденькая, с большими и прекрасными темными глазами на бледном лице, с длинной до пояса черной косой, так напоминавшей мать, детство, тот день.

Девушка остановилась в дверях комнаты, не переступая порога.

— Заходите! — пригласил Бутов.

— Не знаю, будет ли приятен вам мой... визит...

Она была одета в черное. Говорила она громко и отчетливо, но запинаясь, подыскивая нужные слова.

— Нет, почему же... — Бутов пододвинул к ней единственный свой стул.

— Михаила Яковлевича вчера ночью *забрали!*

Бутов уже догадывался о том, что произошло непоправимое, с того момента, когда встретился глазами с гневно-страдальческим взглядом девушки.

По привычке, появившейся в последнее время и им самим не сознаваемой: лишь только она заговорила об *опасном*, Бутов втянул голову в плечи, изо всех сил напряг шею и сжал челюсти; в ушах возник неясный гул и слов-

но бы в нем тонул голос девушки, слышимый, вероятно, и за тонкими стенами, и на лестничной площадке, и везде.

— Что с вами? — с тревогой спросила она, но сразу догадалась и, презрительно морща рот, сказала еще громче: — Да вы просто трус. Михаил Яковлевич рассказывал, как вы там в коридоре: «Гарун бежал быстрее лани...» Он говорил: «Не понимаю, что произошло с моим мальчиком». Ему-то сам Бог велел не понимать — святая душа. Но ведь и я, дура, ничего не поняла... А он все последнее время писал вам; вроде завещания, вероятно, напутствия. Не бойтесь — вечером пишет, наутро рвет: «не то, не то!» Одну тетрадочку сдуло, и под шкаф. Они не нашли даже при аресте, а шмон был основательный, до самого утра. — Девушка говорила все громче и громче, почти кричала, как в истерике. По лицу ее катились слезы, и она их с брезгливостью к самой себе вытирала тыльной стороной ладони. — Ну, я, дура, решила отнести тетрадочку. Думала, это мой долг. И хотела еще раз взглянуть на человека, которого дядя так любил. Думала, что на вас... хоть отсвет его. А вы и не человек вовсе. Вы, вы — будто бы человек. — Она подбежала к столу, швырнула тоненькую тетрадку и, не прощаясь, выбежала, изо всех сил хлопнув дверью.

Бутов неподвижно стоял посреди комнаты. Когда девушка вошла — в черном и белая как бумага, — он понял, что Р. умер, больше чем умер. И при этой мысли ощутил горечь, жалость, но и — что же делать, ничего не перемишь — некоторое облегчение тоже: порвана связь с самым опасным («больше никаких опасных знакомств у меня нет»). И так естественно порвана, без подлости.

А теперь он знал, что девушка прокляла его. Проклятье не смоешь. Он подумал: «страшное время, когда почти что ждешь, да чего там «почти» — жаждешь вести об исчезновении замечательнейшего из всех, кого тебе подарила судьба».

Подумал: «один я такой?». Да нет, в газетах со школьных еще времен столько отречений, отмежеваний от родителей, братьев и сестер, от товарищей, от самого себя.

...Легче тебе от того, что не один ты Иуда? Что ты не выдал, только отступаешь поглубже в тень.

И еще подумал: «Хорошо, что она пришла днем. Должно быть, соседей нет дома».

Едва лишь он успокоился немного, в дверь продолжительно позвонили. Сердце его заколотилось. Он подумал, вернее было бы сказать — он сообразил: все время приходилось, и он научился этому — соображать, иначе не останешься на свободе. Он сообразил: «Девушка вернулась! Как ее зовут? Соня?.. Да — Соня. Будет просить о помощи. Как и чем я могу помочь ей? Лучше не отпирать».

Ему вспомнилось из Евангелия: «Кто говорит — я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец; ибо не любящий брата своего, которого он видит, как может любить Бога, которого не видит».

Мелькнуло в мыслях: а если вместо слова «Бог» подставить — «Идея»? И идея эта — о всеобщем счастье. Ведь так?! Почему же во имя ее только и остается зачеркивать в памяти, то есть убивать в памяти самых близких: брата так брата, любимую так любимую, учителя так учителя...

Звонили и стучали непрерывно, и пришлось открыть. К счастью, это была не Соня, в дверях стоял управдом. Он оглядел небогатую обстановку студенческого жилья и остановился рыскливым взглядом на тетрадке с письмом Р., лежащей посередине пустого стола на самом видном месте. Бутов подумал: «Возьмет тетрадь — и все, и конец. Но я ведь даже не знаю, что там?! Что бы ни было — конец. И ведь хватало времени разорвать тетрадь, сжечь, сунуть в карман!»

Все это он говорил себе как обреченный, как мышшь в мышеловке, как тонущий, уже захлебнувшийся — а бе-

рег далеко, вообще берега нет. Он так был поглощен своими мыслями, — какие тут «мысли»! Переживания? Собоображения? — не найдешь подходящего слова. Так был поглощен, что не расслышал, вернее сказать — не сразу воспринял слова управдома. Тот повторил:

— Нового вселяем. Знаете — напротив! Печать будем снимать. Придется вам, Александр Максимович, — понятным; в порядке общественной нагрузки. Не возражаете?

— Чего ж возражать. Рад помочь! Очень даже рад!..

...Когда это проплыло в мертвом сознании и увиделось со стороны, Бутов понял: все было страшно, но самое гнусное — «рад помочь. Очень даже рад». И искательная улыбочка, обращенная к бритому затылку управдома, шагавшего впереди, пока они пересекали лестничную площадку. «Подменили меня, что ли, или я всегда был таким, только случая не подвернулось проявиться?!»

В квартире напротив прежде обитала милая семья — муж и жена, молодые инженеры с трехлетней дочкой Леночкой, иногда забегавшей к Бутову поиграть. Теперь там было пусто. На полу валялись книги, бумаги, белье, детские платица, женские и мужские костюмы. В детской кроватке, устремив бледно-голубые глаза к потолку, лежала большая кукла. На подушке вмятина от головки исчезнувшей девочки. «Куда она-то попала? Не в лагерь же, не в тюрьму? Или есть тюрьмы для трехлетних?!» Не тюрьмы, так сиротские дома — это при живых отце и матери; или тем недолго жить?!

Кругом была маленькая пустыня; тысячи, а может быть, миллионы безжизненных пустынь вновь и вновь образовывались по всему городу, всей стране — отделенные запечатанными дверями.

Бутов с непроходящим сознанием нечистоты почувствовал, что на лице его все та же жалкая, искательная улыбочка. Постарался стереть ее и не смог.

Или это инстинкт не давал отбросить спасательную маску; чтобы выжить, необходимо было и это — научиться управлять лицом, ни на секунду не расслабляясь. Даже во сне, ведь и ночью кто-либо из них может проникнуть к тебе. Как? Через закрытую дверь, через стену? Может! Именно ночь самое их время.

Надо научиться какому-то, совсем иному поведению. Нет, не научиться — на учение нет ни времени, ни сил, — а просто довериться инстинкту самосохранения, выползшему из первобытных времен; быстроте инстинкта, его безошибочности, и его беспощадности тоже. Разум может только подвести. Надо не думать, а именно соображать. Разум отступает, чем ближе край бездны, в которую вот-вот провалишься; ведь Р. провалился, а кто еще был таким олицетворением разума!

Провалился, исчез. Навсегда? Бутов знал, что навсегда. Инстинкт был рядом с Бутовым и контролировал его поведение. Человек словно раздваивался, как при шизофрении.

«А если я действительно сошел с ума?» — подумал Бутов.

Новый хозяин квартиры, тяжело и властно ступая, шагал по комнате.

— Жили — не тужили, — сказал он.

У него были черные усики и большое квадратное лицо. Управдом поднимал с пола вещи, пересчитывал, вносил в опись и швырял в общую кучу. Действуя привычно и споро, он сказал тому, с квадратным лицом:

— Если что подойдет — не стесняйтесь!

— А мы в университетах штаны не просиживали, чтобы стесняться. Только и своих шмоток хватает. Этому отовариться, что ли?! — он взглянул на Бутова, стоящего в дверях.

— Нет, нет! — с ужасом воскликнул Бутов и поднял руки к лицу, как бы защищаясь.

Мимолетный взгляд того, с квадратным лицом, налился тяжестью, как свинцом, стал неподвижным; взгляд проникал без малейшего усилия через кисти поднятых рук в глаза, а там и внутрь, в самое затаенное. Вспомнились слова Сони: «Да вы просто трус». И еще вспомнилось: «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец».

Трус и лжец. Руки сами собой опустились, да и что защищать, когда ты трус и лжец.

С квадратным лицом снова шагал по комнате, упреком не отвлекаясь составлял опись. Когда все окончилось и Бутов вернулся к себе, он прежде всего стал искать спички, чтобы сжечь тетрадку.

Спичек не нашлось. Попросить у соседей? Это могло выглядеть подозрительным. Он закрыл дверь на два оборота ключа, зашторил окно и стал читать тетрадку:

«... Нынешние апокалипсические времена отличаются от предсказанных Иоанном Богословом тем, что охватывают своим пламенем не сразу всю страну, а постепенно, сословие за сословием; семья за семьей объявляется вне закона, «лишними людьми» в каком-то новом страшном смысле. Гумилева расстреливают, сын его и Ахматовой отправляется в лагерь. А Анна Ахматова остается на свободе. Какая это свобода! Некоторые живут, чтобы забыть, другие — один на тысячу, чтобы помнить. Закон режет семьи по живому; такова его воля. Впрочем, слово «закон» совершенно неуместно.

То же происходит и с различными направлениями искусства, научными школами; многое заменяется одним. Вы понимаете меня?»

Читая, Бутов словно слышал голос Р., мягкий и непреклонный, пророческий. Вот теперь тоска по учителю сжала сердце. Он был единственным из всех, кого Бутов знал, достойным слов: «Се Человек». Позорное и предательское бегство в университет-

ском коридоре было бегством не только от Р., но и от того неокрепшего, что могло стать человеческим в самом себе.

Бутов читал:

«Все это похоже на опричнину и, может быть, с опричнины и началось. Те, кто объявляются вне права жить, — отделяются от остальной страны стеной, проволокой. Тот, кому это удобнее, может вообразить, что за ней тишина. Кто посмелее, услышит крики, слова, но искаженные до неузнаваемости. Стена, или нет — ширма, которой в больничной палате отделяют умирающего. Уберут ширму, откроется тщательно заправленная кровать, и нет следа от того, кто тут доживал последние часы. Удивительная тайна и ужас бесследности человеческого существования; даже больше чем самой смерти.

Впрочем, какая же ширма, если стена метровой толщины или проволока — их до срока не сдвинешь никакими силами. Одна половина народа уничтожает другую. Нет, уничтожает именно не половина, а та самая узкая «кучка, идущая по крутому обрыву»; она не сорвется в бездну, ни у кого не хватит умения и сил столкнуть ее. Самое совестьное слово, долг, — теперь не из сердца, подчиняется не внутреннему велению, а всегда давлению извне — всегда как формула насилия.

Сначала стена отделяет дворянство, купечество, духовенство, «кулачество» и всех, кого произвольно к этому сословию приписывают, разночинцев — прежний разум страны, объединив всех ловким словцом «лишенцы». Погибают выработанные у нас дворянством, разночинцами и народным опытом правила этики. Короленко писал, как потрясли его день и час, когда он узнал о казни одного польского повстанца; нам, моему поколению и поколениям младшим, даже вашему, стало естественно спокойно, не ускоряя шагов пройти мимо завалов трупов. Мы — поколения на крови, всё видящие через кровавую

завесу. В прошлом дело одного Дрейфуса, одного Бейлиса, маленькой группки вотяков, произвольно осужденных за не совершенное ими ритуальное убийство, возмущали совесть мира. Теперь — вы заметили? — и само слово «совесть» исчезло из обихода.

В двадцатых и первой половине тридцатых годов стена отбросила смертную тень на самые работающие и творческие слои крестьянства. Явственно обозначалось, что сам народ объявлен врагом народа; ведь кто еще, если не крестьянство, — народ в крестьянской России?!

После каждого ареста родные, друзья, знакомые и полужнакомые должны писать «вверх по инстанции», что такой-то репрессирован. Где тут смысл: убийцам сообщать, что убитый ими мертв? Смысл есть: всю страну, все уцелевшее до времени в ней заставить год за годом и день за днем упражняться в предательстве, во лжи, подписывать смертные приговоры, чтобы свойства эти вошли в антропологический состав человека; чтобы закрепилась другая разновидность человеков. Чтобы поставить человека в ситуацию подлости, и так — пока не возникнет в нем соответствующая цепь условных рефлексов. Зажигается лампочка и течет слюна: случилось, выдуманно что-то такое — и следует донос; не из выгоды даже, не из карьеры, а так, чтобы не пало подозрение».

Читая, Бутов шагал по комнате от окна к двери и обратно. Электричества он почему-то не зажигал; впрочем, ночь была светлая, прозрачная, словно бы и она боялась, что ее упрекнут в укрывательстве.

В сознании промелькнуло: стук шагов в этот поздний час может показаться соседям подозрительным, Бутов стал ходить на носках, сбросил ботинки. В странноватой «игре в слова», к которой Бутов пристрастился вслед за Р., слово «соседи» само собой изменилось в — «свидетели». Свидетели обвинения, конечно, — других сейчас не бывает. Хотя какой

там «суд», и кому нужны «свидетельские показания» в царстве лжи? Как-то профессор Р. сказал: «Презумпция виновности сменила презумпцию невиновности — самое высокое деяние человеческого ума и сердца. Люди делятся на подозреваемых, обреченных и подозревающих, на хватаемых и хватающих».

Бутов остановился у окна и дочитал письмо уже при свете луны.

«Для Пушкина самое людское — жалость; «и в сердце жалость умерла» — значит, и не человек больше. Новые гомункулы прежде всего безжалостны. Обратим ли в исторической перспективе этот процесс обезчеловечения? Нам, старикам, не дано знать, но что думаете об этом вы, ваше поколение? Заглядываю в глаза прохожих, в глаза студентов на лекциях, на семинарах, и как редко встречаешь ответный сочувственный взгляд... А если в гигантскую реторту затолкнут постепенно весь мир — народ за народом, страну за страной? Известно ли вам, что в самом начале двадцатых годов Ленин пожелал беседовать с Кропоткиным? Они встретились в Румянцевской библиотеке: место избрал Кропоткин, идти в Кремль он отказался. О чем они говорили там, на верхней лестничной площадке библиотеки, — человек, вобравший в свою «Этику» весь нравственный опыт человечества, еще от библейского «не убий», и его собеседник, заново провозгласивший нечавское — «морально то, что полезно революции».

Все же Кропоткину и многим другим казалось, что человеческое в людях сильнее, оно должно в последнем счете победить. Самое странное, что мне и сейчас представляется, что победа будет за справедливостью, хотя я пишу это перед гибелью не только неизбежной, но и очень близкой... Стучат в дверь...»

Письмо оборвалось...

Бутов различил тротуар — там, далеко в прозрачной темноте — и подумал: «Конечно, лучше бы открыть окно

и выпрыгнуть; и все, и дело с концом. Ведь я из «подозреваемых», чего же мне ждать, любимому ученику Р.? Вспомнилось: «Кто нес бы бремя жизни, когда б не страх чего-то после смерти». В Бутове этого страха не было; ведь он еще ничего не знал о посмертном суде над собой.

Чего же он медлил?

Вспомнилось, что и в пять лет, когда погибла мать и он увидел труп на мостовой, было это влекущее чувство выпрыгнуть за окно. «Что же оно у меня — в крови, что ли? В крови эпохи. Вот ведь Есенин — повесился, Маяковский — расстрелял себя. В крови эпохи. Эпоха на крови».

Чтобы избавиться от жуткого соблазна, Бутов отошел от окна и сел на кровать. Почти сразу поднялся, отыскал иголку и единственную катушку белых ниток — других не оказалось — подпорол подкладку куртки, сунул в образовавшуюся щель тетрадь и снова подшил подкладку; если по законам здравого смысла, то все делалось до крайности нелепо. Ведь в любую минуту тебя могут схватить; при самом поверхностном обыске только слепой не обратит внимания на белые стежки. А если найдут нарочито спрятанную тетрадь, тогда уж...

Все верно, но он оставил как было; из-за того, что, вероятно, нельзя ему было существовать совсем без Михаила Яковлевича, совсем вне мира его мыслей, с которым тетрадь как-то прощально связывала; и из-за того, что второй раз бегство — то, коридорное, — невозможно; и потому еще, что сохранить тетрадь — против здравого смысла, а разве не нынешний «здравый смысл» чуть было — или совсем? — превратил его из человека в будто бы человека; и потому еще, что его вдруг охватила смертельная усталость: пусть свершится, чему свершиться суждено.

Он только скомкал край куртки; теперь бумага хоть не шуршала за подкладкой. Бросил куртку на стул, скинул ботинки и лег. Его охватила вереница снов — может быть,

и вещей. Снилось ему, что по улице через ночь неторопливо идет единственный прохожий, так тяжело ступая, что тротуар прогибается под ногами. Прохожий напоминает того, с квадратным лицом, но и управдома тоже; он без труда поднимается вверх по стене, как муха по стеклу. Даже не через окно, а сквозь стену он проходит в комнату, вынимает из чемоданчика нечто черное, свернутое в трубку. Быстро разворачивает: черное оказывается часто переплетенной чугунной решеткой.

Стоя лицом к Бутову, прохожий говорит:

— А вы, небось, уже черт знает что напридумали...

— Да, — испуганно и с новой в нем принижающей услужливостью соглашается Бутов.

— Напридумали, а вот и неправда, вот и неправда!

— Да я и сам вижу, — Бутов спешит согласиться.

Прохожий между тем подошел к окну и распахнул раму. Очень сильный ливень. Но вместе с тем невиданно ярко светит луна. И этот лунный свет, ветер, косые ливневые потоки упираются в грудь прохожему с решеткой в руках, отталкивая его на середину комнаты. Бутов и во сне отлично сознает, что если бы он встал, если бы хоть немного помог дождю и луне, прохожий бы исчез, убрался восвояси. Все это так, но Бутов не поднимается. Боится он, что ли?.. Вероятно, вроде того — боится. Прохожему удастся снова приблизиться к окну. Он захлопывает его и очень умело прилаживает решетку.

— В самый раз! — говорит прохожий.

— Как по мерке, — искательно кивнув, спешит согласиться Бутов.

Тени от решетки ложатся на потолок, на стены, стол и на лицо тоже. Бутов чувствует их холодное, все усиливающееся неумолимое давление.

— Теперь уж не бывать, чтобы раз — и к окошку. Студентик ведь, всякое взбредет.

«Именно — «всякое». Это точно — «всякое», — хочет поддакнуть Бутов. Сейчас необходимо поддакнуть, но страх сжимает горло. А молчать нельзя. Никак нельзя, — подсказывает инстинкт. И инстинкт прав. Он бы послушался его — да вот не выходит.

— К окошку — и бенц, — повторяет прохожий. - Или через дверь и драпа.

Прежде чем исчезнуть, прохожий и дверь заделывает решеткой.

Только теперь Бутов открывает глаза; на потолке и на стенах пересекающиеся прямые тени. От решеток? «Да нет — просто от оконных рам», — пробует он успокоить себя.

Он подбегает к окну. Никаких решеток! До половины тела высывается из окна. Его охватывает ливень, но он не торопится укрыться в комнате. Напротив, он думает: еще мизерное усилие, неприметное движение — и «бенц», как выразился прохожий. Но он не делает этого ничтожного усилия. Отчего? Решимости не хватает? Ведь так просто — из сна в смерть. Ведь я сплю. Нет, не сплю, глаза открыты; вот она, черная ночь, черная решетка теней, черная улица, черная пустота. Не сплю!..

А когда прохожий был тут — спал? Не знаю. Во всяком случае, прохожий сейчас отчасти здесь, отчасти следит за мной.

А броситься в окно — хорошо бы, но до этого нужно что-то успеть сделать. Что именно — он не помнит. Что-то необходимо совершить, прежде чем явиться. Куда явиться?

Бутов поворачивает выключатель; и это кажется отчасти удивительным, что свет зажегся. Берет со стола мутноватое бритвенное зеркальце. Никаких следов решетки, а давление переплетающихся прутьев — сильное, режущее — он чувствует непрерывно. С лихорадочной бы-

стротой одевается, бросается к двери, хочет открыть; дверь не поддается.

— Так вот оно что такое ты надумал! — яростно, но и с ужасным страхом говорит Бутов. — Ничего! Это тебе не пройдет, не на такого напал!

Он колотит кулаками по двери, дергает ручку, всем телом повисает на ней. Он не спит — это точно. Но и дневного сознания нет. Он где-то между, как сейчас в могиле.

Откуда-то раздается хихиканье. Бутов бежит по комнате, заглядывает под кровать, под стул, под шкаф. Вдруг кажется, что он висит на лампочке вниз головой. Но ведь так не бывает. И все-таки тот он — есть, есть! Совершенно обессилев, Бутов садится на стул. И вдруг видит ключ в двери; вспоминает — вечером он сам закрылся на два оборота; так просто.

И вот уже он бежит по тротуару. Ливень прекратился. Он бежит что есть сил, не очень сознавая, куда это так торопится. «Ах, ну, конечно же, к Р. Ты убежал от Р., теперь твой долг догнать его».

Инстинкт предостерегает, но он взбунтовался против инстинкта. Р. там; ну там, куда их увозят: «их увозят, нас увозят». Или уже в преисподней твой Р.?

Все равно надо спешить.

За спиной Бутов слышит шаги и из последних сил ускоряет бег. Больше всего он сейчас ненавидит свой инстинкт, хотя ведь это не что иное, как часть его самого; да и единственное, что озабочено его судьбой, пытается защитить, по-своему, разумеется, несколько подловато, но пытается.

Шаги близятся. Бутов остановился — все равно силы на исходе, так не лучше ли сразу? Слышно, как шумит вода: по-разному — когда с силой, негодуяще вырывается из переполненных водосточных труб, когда частыми каплями срывается с деревьев, фонарей, крыш; когда звонко

бурлит в придорожной канаве.

Ударяясь о ноги, вода разделяется на два русла — одно течет прямо, другое к краю тротуара. Странно, как они решительно разрывают друг с другом, эти два потока, до сих пор бывшие одним.

Совершенно как люди.

Бутов у цели. «Ты говорила, что я трус и лжец, больше ничего», — мысленно повторяет он слова Сони. Почему же здесь, у дома беды?

Ему представляется, что он видит в темноте Сонино бледное лицо, и видит, как презрительно морщатся ее губы, когда она отвечает: «Чему удивляться? Все дома в этом городе, в этой стране — дома беды».

Так и не удалось объясниться с Соней.

Лифт не работает. Бутов поднимается по тускло освещенной грязноватой лестнице, длинно, очень длинно звонит в дверь Михаила Яковлевича. Звук звонка уходит туда, в пустыню, которую теперь он ясно представляет себе. Он стучится, трясет дверь, отлично понимая даже своим нынешним смутным сознанием, что все делаемое им бессмысленно, опасно и объясняется единственным нелепым решением поступать вопреки здравому смыслу и инстинкту, условным рефлексам. Те, кто сейчас живут по инстинктам, — не люди, а ему почему-то необходимо доказать себе, что он человек; может быть, оттого необходимо, что он сам в этом сомневается.

Открывается дверь напротив. На лестничной площадке появляется заспанная пожилая женщина в халате.

— Что это ты так разбушевался среди ночи? — спрашивает она.

— Мне Михаила Яковлевича, — бормочет он, различая красную сургучную печать на двери, раньше почему-то не бросившуюся в глаза, различает магический знак, отделяющий замеченное. Печать не должна была бы его

потрясти, ведь он уже все знал от Сони. Но почему-то он чувствует предобморочную слабость и, чтобы не упасть, прислоняется к стене.

«Запозднились! Очень даже запозднились, молодой человек. Вам бы на три денечка раньше».

«Запозднился стать человеком», — про себя переводит Бутов слова женщины в халате и думает: «Как она-то угадала, что с ним творится?! Все угадала — ни убавить, ни прибавить».

Отодвинув женщину плечом, на лестничной площадке возникает пожилой мужчина в подтяжках поверх майки, в ночных туфлях на босу ногу.

— Зачем тебе так называемый Михаил Яковлевич? — сердито спрашивает он и несколько бочком надвигается на Бутова, как бы увеличиваясь при этом. Черты его расплывчатого, опухшего от сна лица приобретают каменность.

Бутов отвечает не сразу. Им овладевает эта нелепая «игра в слова»; «со-сед», «сед-со», «сексот».

— Михаил Яковлевич мой профессор. Учитель!

— Учитель, значит?! Для кого «учитель», а для нас с вами — враг народа! Вот оно как, молодой человек!

— Со-сед, сед-со, сек-сот, — механически повторяет про себя Бутов.

Он делает движение к маршу лестницы, ведущему вниз, но сосед и соседка плотными телами загораживают дорогу.

— Поскольку уж пожаловали посреди ночи, какой резон торопиться? — говорит сосед.

— Да мне Соню, Сонечку. Вы ведь знаете ее. Маленькая бледненькая такая. Адресок она не оставила? Или номер телефона? Позарез поговорить нужно, посоветоваться.

— Родственница, что ли? Или «подружка», как нынче выражаются?

— Не то, не то!..

«Седсо, сексот», — повторяется в голове и не дает думать, даже «соображать» мешает.

— Поговорить, следовательно, посоветаться? — Голос соседа становится мягким, ласковым, словно и не он говорит, а кто-то иной. — Всему свету в мировом даже масштабе известно московское гостеприимство, а мы на лестнице. Пожалуйста, чаек поьем. Аграфена Ивановна, так полагаю, не откажется одержку вашу несколько подсушить. Не откажешься, старая?

Аграфена Ивановна утвердительно кивнула.

— Вот и хорошо, вот и славненько!

— Да нет, — откликается Бутов. — Дело в том, что я крайне нездоров. И с ботинок натечет. Я тут подожду.

— Воля ваша, Аграфена моя останется для компании... Анекдотцы припомнятся, друг другу расскажете. Не такие, конечно, «пур для дам», как французики выражаются. А? Или англичане? Нынче все норовят охальничать, словно мы и не наши, а упаси боже — заграничные.

Сосед скрывается в дверях. Телефон, видимо, в коридоре, близко. Слышно, как сосед набирает номер. Но говорит он так тихо, что ни слова не разберешь.

Бутов стоит, опершись о стену. «Главное — силенок поднакопить. В случае чего — сила вот как понадобится». Отчего-то голова мутная, плохая. Он спрашивает женщину:

— Помните это: «Я исчезну, обнимая вас холодеющими руками».

— Еще что такое!?!

— Стих, — словно оправдывается он. Не знаю, почему то именно эти строки припомнились.

— Мы, слава богу, люди трудящиеся. После работы голова гудит, ровно бочка пустая. Не до стишков.

«Седсо, сексот», — про себя повторяет Бутов. Вспоминаются слова Р.: «Люди в наше время подразделяются на мертвых

и живых. Мертвых несравненно больше; мертвых, притворяющихся живыми. Боже мой, как хорошо, мой мальчик, что ты не мертвый, что ты одухотворенный; радости это не принесет, только горе и смерть. Но горе и смерть — человеческие».

«Одухотворенный». Какой он, к черту, «одухотворенный»!

Из коридора доносится тихо: «Не извольте беспокоиться — мы, как говорится, сам с усам. Так сейчас и выезжаете?!»

Бутов наконец соображает, что слова, произнесенные в коридоре, — и услышанные, и те, которых он не уловил, — касаются его, только его. Он бросается к лестнице. Аграфена Ивановна пытается остановить его, широко расставить руки, словно ловит курицу. Он проскальзывает под ее руками. Может быть, она и не слишком старалась изловить.

Сверху раздается громовое: «Стой!». За Бутовым бегут, но это не страшно, он бежит хорошо. Он как бы падает, подобно дождевой капле, сверху вниз. Из ворот в переулок, сворачивает в знакомый, еще по тем, хорошим временам, проходной двор, оттуда в другой переулок. Теперь, пожалуй, можно не торопиться.

Дома он развешивает промокшую одежду, ботинки прислоняет к батарее, а сам — полуголый, в трусах — садится к столу, берет тетрадь и пишет: «И он надеялся, что слово — зачем же Бог создал его? — воскреснет, разорвет оковы — и устремится высоко. И люди вспомнят: мы же люди...». Эти неловкие стихи — к Р., заочное с ним прощание. Может быть, стихи трудно даются оттого, что после всего происшедшего он не имеет права на прощание.

Прощание... прощение.

«Се человек» — так будет называться стихотворение. Не закончив его, с лихорадочной быстротой Бутов пишет другое: «Баллада о трусости». Она начинается строкой песни, которую он очень любил в спокойные школьные

времена. Вернее так: казавшиеся спокойными. «Были два друга в нашем полку. Пой песню, пой...» Резкий перебой ритма и поэтическое изложение истории были так распространены в те годы. Одного, первого товарища, «обсуждают», то есть судят, а если засудят, то это хуже смерти. И он, которого сейчас могут засудить, видит в битком набитом зале, где все решительно враждебны ему, — второго друга, о котором поется в песне, он видит и взглядом молит заступиться. Второй поднимается, но он говорит нечто совершенно неожиданное: «Были два друга в нашем полку, и я верил другу как самому себе. Тем более трагично для меня гнусное поведение этого человека, предательство наших идей», — ну и т. д., и т. п.

Первый почти не слушает, для него все кончено. Стихи перебивает рефрен: «Время жить прошло! Время тебе умирать».

Тот, кого судят, превращается в волка. За ним гонятся собаки, но почему-то с человеческими лицами. И гонятся охотники с собачьими мордами. А он — волк — в лесу. И он бы убежал, но его окружают красные флажки. Или языки пламени? У волка нет сил проскочить из круга, очерченного не то призрачным, не то истинным пламенем. Он мечется, пока вдруг не открывается просвет в кругу. Сейчас это уже не волк, а человек. Он притаился в древесной чаще, но второй видит его, и именно он, спокойно прицелившись, нажимает курок. «Время жить прошло, Время тебе умирать». Да, «были два друга в нашем полку».

Бутов роняет голову на руки, его охватывает тяжелый сон. Он во сне, как в лабиринте; а есть ли выход из лабиринта, хватит ли сил его отыскать? И ему все равно. Не отыщется выход, сон перейдет в смерть. Просто! Вообще все решительно кажется до странности простым.

Он спит и ему снится, что он идет по улице, куда-то ужасно торопится, проталкиваясь через плотную массу прохожих. Но прохожие устремляют взгляд на него и на-

чинают расползаться. Именно расползаться во все стороны, лишь бы подальше. Только дома стоят неподвижно.

—... А если бы я не убежал тогда в коридоре, что-либо изменилось бы? — спрашивает мертвый Бутов.

— Все стало бы иным, — хмуро отвечает Некто.

...В сонном видении он, Бутов, становится бесплотнее с каждым мгновением, а круг прохожих — шире. И видится Бутову еще один такой круг, еще, еще. Конца им нет. В видении своем Бутов стал уже совсем невидимым, несуществующим. Решетка с долгим металлическим звоном падает на мостовую. Бесконечно далеко очерчивают круг горизонта люди.

Люди или тоже призраки?

А рядом с тем местом, где он стоял, теперь лежит только чугунная решетка и рядом три магазина: хозяйственный, игрушек, готового платья — саваны; больше ничего. В магазине игрушек пистолеты и пулеметы. Так что ничего особенного не произошло.

«Все, что осталось от старого мира, — папиросы «Ира».

Бутов просыпается. Но еще прежде, чем он открыл глаза, опережает его пробуждение вчерашний страх. Да какой там вчерашний — вечный, но время от времени скрывающийся. Он переписывает стихи и все время прислушивается. Шаги по лестнице! Нет, не к нему, — выше. А вот из коридора доносится слабый звук — что-то опустили в почтовый ящик. Он достает газету и письмо с официальным университетским штампом, без марки; очевидно, курьер принес и не достучался. Газету он швыряет на диван, а конверт вскрывает. Ну, конечно же, — вызов в деканат: «Явиться в десять тридцать».

А сейчас сколько? Половина девятого, да еще часы кажется, отстают. Он бегаёт по маленькой своей комнатке: что-то такое жизненной даже важности необходимо сейчас сделать. Но что?

Он заставляет себя сесть и обводит глазами комнату. Она видится разоренной, как после обыска, и так реально, что трудно усомниться. Неужели ночью был обыск? И откуда смутные эти видения — виселицы, саваны? На полу бумаги, скомканное белье, а вот синенькая тетрадь Р. Но как же тетрадь, когда вот она, за подкладкой?

И если был обыск, как же я здесь? Тогда я, Бутов, — далеко.

Или меня уже нет, и только кажется, что я существую?

Или я схожу с ума. Или все это галлюцинации, миражи?

Он плотно закрывает глаза — снова засыпает всего на несколько минут, а когда уж совсем просыпается, видит: все в порядке, все на своих местах. Другие поколения не знали счастья подобных пробуждений.

В дверь стучат. На пороге снова Соня. Лицо у нее, как и вчера, мертвенно бледно.

Опять мираж, галлюцинация?

— Тише, — говорит Соня. — Михаил Яковлевич не вернется. Его убили! Вы понимаете.

— Но откуда вы можете знать, что с ним?

— Его убили. — Губы у Сони морщатся, как в первый раз, она продолжает. — У вас, значит, тоже побывали, но, конечно же, не тронули. Вы же трус и предатель — сейчас такие очень нужны. Не волнуйтесь — вы еще долго будете необходимы системе (тоже слово Р.), ну а потом — это, кажется, у них называется «в расход!»

Он вспоминает: да ведь мы с Р. совсем недавно проверяли слово «расход». Получалось совсем безобидно: «Отец про походы, мать про расходы; все люди в расходе, то есть в рассылке, в работе». И как же это слово выбилось из ленивого своего, мирного течения в самую сердцевину кровавого водоворота.

Или слова, как и люди, сходят с ума.

...Снова на полу книги, бумаги — это еще при первом

пробуждении он сам начал обыскивать себя. Надо хоть стихи спрятать. Он наклоняется и падает на пол. Когда он очнулся, — комната переполнена солнечными пятнами. Они на стенах, на полу, на потолке, странным образом висят в воздухе, словно маленькие солнца. Так вот отчего примерещились раскрытые книги, листы бумаги, — всё только солнечные пятна, неразбериха солнечных пятен. «Не обыск, даже отличнейшая погода — вот что, дурачок!»

Он с трудом поднимается. Пусто, голо. Бутов отпарывает подкладку куртки, прячет стихи — «Се человек» и «Балладу о трусе»; снова аккуратно зашивает тайничок.

13.

В приемную деканата он входит ровно в половине одиннадцатого. Секретарь окидывает его таким взглядом, что он даже проводит ладонью по лицу. Конечно же — никакой решетки; примерещится же! Вспомнились слова Сони, те, что снились: «А потом — в расход!» Что ж, *потом* уже настало и сейчас наступит?!

Секретарша ведет его через кабинет. За те несколько шагов, какие они с ней идут рядом, ясно видно, что она сторонится его.

— Что вы можете сказать о своем друге Р.? — спрашивает декан.

Бутов медлит с ответом. Тянет ответить — «он не был моим другом». Тянет нечто в нем самом — инстинкт? Да, но одновременно и нечто иное. Мгновениями кажется, что сказать так — это покончить самоубийством; самоубийство души — может быть такое? Фраза уже на языке, но в последнюю секунду он все-таки удерживается. «Кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец». Может быть, именно эти вспомнившиеся слова не дают стать предателем.

— Вы знаете, разумеется, что Р. разоблачен как матерый наймит империализма. — При каждом слове, прежде чем произнести следующее, декан взглядывает на Серого.

Серый в отличном черном костюме, и лицо загорелое, с румянцем, но почему-то нет и малейшего сомнения, что он именно серый.

— Агент иностранных разведок! — уточняет Серый.

— Именно! Платный агент иностранных разведок, — все повышая и повышая голос, говорит декан.

Боже, какая темнота вокруг, непроглядная чернота. Будто идешь ночью по лесу; какой там лес — бесконечное кладбище, ямы, загодя вырытые для завтрашних покойников. Но есть же и светлая тропинка? За этим поворотом или за тем — есть же нечто вроде лунной дорожки.

— В молчанку вздумали играть? — кричит декан. — С нами так не выйдет, Бутов.

— Я знаю о профессоре то же, что и все, слушал лекции, читал его книги.

Он сам понимает, что он совершил, если и не предательство, то полупредательство.

Вдруг в окне он видит именно эти три магазина, приснившиеся сегодня, но в текстильном обычные тюки материи, в хозяйственном — ведра, ящики гвоздей, швабры, грабли, в игрушечном — куклы.

Бутов смотрит и молчит.

Откуда-то со стороны двери он слышит голос Ирины: низкий, глуховатый, который не спутаешь ни с каким другим:

— Ты обязан сейчас же полностью разоружиться перед партией, комсомолом, своими товарищами!

— Бывшими товарищами! — веско поправляет Серый.

«Разоружиться?» Р. сказал бы: «Тоже из новеньких, страшноватеньких смысловых перемен. Раньше «разоружиться» было — просто сдать оружие, а теперь вот оно что — сдать свою суть, душу?»

Бутов отлично понимает: «не время для игры в слова», а все-таки...

Р. как-то сказал: «В нашу эпоху слова теряют смысл во всем, кроме поэзии. Эпоха должна родить великих поэтов, которые пронесут слово сквозь пустоту. Один поэт, другой — захлебнутся в болотной грязи, покончат самоубийством, люди умрут, но слова выживут. И все начнется сначала; слова вспомнят себя». Что-то в этом роде Р. повторял часто. «Но на такой подвиг способны одни лишь великие». Но ведь в стихах великого есть и такая строка: «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо». Будто человечество погибнет не от братоубийственных войн, не под неограниченной властью, а от того, что мало слов перелито в штыки.

Так это Ирина крикнула: «Ты должен сейчас же разоружиться!» Конечно же; она ведь комсорг курса. И все-таки непонятно, как Ирина решилась крикнуть. Такое ясное прямолинейное время — и столько непонятного...

...Неделю назад он с Ирой был на органном концерте в Большом зале консерватории. Сидели в последнем ряду галерки. И почему-то — вероятно, именно во власти волшебной музыки, — он, обычно такой нерешительный с девочками, взял Иру за руку. Она послушно поднимается. Ира и Бутов идут по лестнице — вверх, вверх: от сцены, но как-то так — навстречу музыке. Словно там, наверху, ближе к небу, музыка скапливается в каком-то гнезде и, обновленная, соединяется с их дыханием и стуком сердец.

«А Ирин голос похож на звуки органа, — думает Бутов. — И в нем такая прекрасная переполненность. Словно она задыхается в потоке чувств».

...Они идут, ступая осторожно, чтобы не скрипнула ступенька. Скрипнет — и все разрушится. А наверху — ломаные кресла, свернутые ковры, окошко, затянутое пылью и паутиной. Необычайно измененный — может быть,

именно пылью и паутиной, — свет, несколько напоминающий радугу. Именно тут музыка скапливается и, отражаясь, заполняет зал, каждого человека, а главное — его и Иру. Что им сейчас до других?

Музыка и они — это все. Они в самой музыке, подхватывающей и несущей, как ветер. Ира медленно, бесконечно медленно поворачивает к нему закинутую голову, с полураскрытыми губами. Он обнимает ее, и она всем телом тесно прижимается; теснее, теснее — так, что можно задохнуться.

А ведь раньше ничего у них не было. Что же это? Просто чудо. От музыки, а быть может, от предстоящего расставания, прощания, неизбежность которого тоже подсказывает музыка. Оттого, что все на переломе, наступили последние сроки. Медленно отрываясь от его губ, она шепчет: «Милый, милый».

А теперь:

— Ты должен разоружиться!

Бутов молчит. У него кружится голова. Не хватало только хлопнуться в обморок. Так неужели Ира?

— Я могу считать себя свободным? — спрашивает Бутов.

— Сейчас вы можете считать себя свободным.

Те, кто толпятся в кабинете, расступаются, давая Бутову дорогу, но делают это не из сочувствия, а будто уступают путь зачумленному или прокаженному; они хотят жить — как Бутов, когда он бежал от Р.

Бутову вспомнилось — месяц или два назад он провожал Р. домой. У подъезда профессор сказал:

— Пожалуй, лучше вам сегодня не заходить ко мне — я верю предчувствиям, — но руки, протянутой Бутовым для пожатия, не отпустил. Помолчав, сказал еще: - «Есть такая притча. Люди попросили у бога бессмертия. Бог ответил: «Я дам вам больше чем бессмертие. Когда одно поколение запутается во лжи, возникнут детство, неведение,

другое поколение начнет искать свою дорогу, поколение, не обремененное ошибками, раскаянием, которым ничему не поможешь, преступлениями большими и малыми. И, может быть, оно найдет путь хоть на йоту ближе к единственному». Вы понимаете, какой это истинно божественный дар?» - Так сказал профессор, скрываясь в подъезде.

...Путь к двери деканата казался бесконечным. Бутова от других, заполнявших кабинет людей, незнакомых и вчерашних приятелей, отделяют не идеи, а только одно: они — живые, а он вычеркнут из списка живых. Вычеркивающий взгляд Серого он чувствовал спиной, на уровне лопатки, на уровне сердца, — взгляд, простреливающий насквозь: неотводимый, запоминающий.

«Меня расстреливают, а разве сам я не часть того, что выносит приговор и расстреливает?!» — неясно думает Бутов.

Его наполняли не ужас, не лихорадочные поиски путей к спасению, а вялая, скучная даже покорность. Пожалуй, сейчас им мог бы заинтересоваться один лишь Чичиков; время другое, но по сути очень близкое к тому. Современный помещик, не слишком сильный в грамоте, занес бы его в список и рядом с «Неуважай-Корытом» поставил «Будто-бы».

«Ему, нынешнему Чичикову, — как-то говорил Р., — не пришлось бы чертить околесину по непроезжим российским дорогам. Ему бы доставляли «товар» составами, баржами, день и ночь со всех концов страны. В самом названии поэмы — ужас заклятия, проклятья, пророчества будущего. Всю остальную сверхчеловечески несчастливую жизнь Гоголь пытался отвести от страны им же произнесенное пророчество, но не мог; он увидел будущее при вспышке молнии, прорезавшей все пространство и все времена, чтобы ударить прямо в сердце. Увидеть будущее возможно, но изменить даже в малейшей черточке — выше сил человеческих».

— И вы видите свое будущее? — спросил тогда Бутов.

— Ну, это-то задачка простенькая, арифметическая.

— И мое?

Р. сразу заторопился:

— Пора в библиотеку, молодой человек. Давно пора. Кое-что непременно надо успеть дочитать, — сказал Р., сворачивая в переулок.

...Дома, на пустой улице, Бутов услышал частую дробь догоняющих его шагов. Он знал, кто это, но не обернулся. Один раз он остановился и сказал, не оборачиваясь:

— Чего ты от меня хочешь?

— Поговорить. Объяснить! — ответила Ира. Теперь голос ее звучал завораживающе, как тогда на концерте, и грустно, словно бы не она несколько минут назад выкрикнула неумолимое: «Ты должен разоружиться!».

— Наговорились, куда еще...

— Нет, нет...

Вслед за ним она зашла в комнату. Тут все было по-прежнему залито солнцем. В форточку влетела мохнатая пчела. «Как это она очутилась в центре города?» — подумал он. Пчела садилась на светло-желтые солнечные блики, принимая их, очевидно, за цветы, и с негодующим жужжанием поднималась в воздух. Комната была похожа на луг. Все, с чем тебя разлучают, кажется таким красивым.

Луг?! Почему-то вспомнилась трехлетняя Леночка, дочка соседей, дружившая с ним, и Бутов снова подумал: «А куда же деваются дети «репрессированных»... Может быть, и действительно есть лагеря для трехлетних?» Эта мысль не оставляла его.

Ветер усиливался, швыряя занавеску, и блики колебались все быстрее, заманивая в светлую пустоту. Бутов распахнул окно, и пчела вылетела уверенно и прямо.

Тени и световые пятна, так похожие на цветы, но при этом до удивительности даже неживые, качались вместе с порывами ветра, без устали колеблющего занавеску.

И его «часы заведены».

Он подумал: неужели именно Ира завела их?

Она, никто иной. Она и Серый.

Почему-то он был уверен в том, что всех, кого забирали, — расстреливают; ведь они исчезают, а полное исчезновение возможно только в смерти. Тот неизвестный солдатик специальной службы, что выстрелит ему в затылок, лишь завершит начатое не им. К воображаемому солдатику он не чувствовал ничего. Не было даже страха перед ним. Служба. Отслужит — и домой, обзаведется женой, детьми, хозяйством. *Туда*, как говорят, отбирают людей прежде всего исполнительных, а человек исполнительный — в других обстоятельствах хороший семьянин. Солдатик ни при чем — часы завела Ира.

В какой-то старой книге Бутов прочитал: «Нет подлее предательства, чем если предаешь любимого».

Так разве Ира любила?

Однокурсники называли ее — «королевственная девчонка».

Он стоял спиной к Ире, но воображению она виделась яснее и реальнее, чем когда-либо прежде.

Его вдруг охватило сумасшедшее и подлое желание — что оно было именно сумасшедшим и подлым, Бутов разобрался не сразу, — унижить ее, отомстить.

Тут было и просто плотское влечение.

И еще он чувствовал право на нее, потому что она его так властно притянула к себе — там, в консерватории; казалось — на всю жизнь.

И право на нее, оттого что «вся жизнь» непременно окончится нынешней ночью; уже выписывается где-то ордер — это он знал. Окончится только потому, что она крикнула: «ты должен разоружиться» — и указала всем: вот враг, — навела на него неподвижный взгляд Серого.

Те несколько шагов, пока Бутов шел к Ире, все это со-

единилось в одно — сильнее воли и сознания.

Ира стояла молча. Она попыталась что-то сказать, но не смогла: губы дрожали, голос не слушался. Она стояла со сведенными плечами и опущенными руками. Он резким движением сорвал с нее кофточку; пуговицы оторвались и с дробным стуком упали на пол; словно налетел и пронесся мимо мгновенный град. Рванул рубашку так, что бретельки порвались и соскользнули с плеч, положил руки на смуглые груди с бледно-розовыми сосками и сжал.

Ему вдруг резко как-то, словно толчок в сердце, вспомнилось: Р. говорил, что человек и нелюдь отделяются одной мерой — способен ли ты ради справедливости выдержать пытки, голод, и способен ли сам пытаться.

Зло входило в мир. «Неужели ты уже сам незаметно превратился в нелюдь?» — спросил он себя; Ира и не пыталась вырваться. Видеть ее, чувствовать такой совершенно покорной, несмотря на весь ужас, внушаемый сейчас им ей, — было невыносимо; он словно пытал; да чего там «словно». И, несмотря на отлично сознаваемую мерзость совершаемого, на секунду почувствовал острое наслаждение.

Вспомнились слова Р.: «Горько, что погибнет единственный мир, где есть существа с разумом и душой. Еще горше, что люди погибнут, прежде став нелюдью, «бесами». Погибнут, давя друг друга так, что даже не ощутят последней секунды разумного существования во вселенной, и каждый в самом себе».

«Человек шел к человеческому столько-то миллионов лет, а звереет сразу», — говорил Р.

— Одевайся! — сказал Бутов, отходя к окну.

Она не слушала его. Узкие покатые плечики и бесильно висящие тонкие руки покрылись гусиной кожей, на груди выступили красные пятна от его пальцев. Он накинул ей на плечи свою куртку и стал застегивать пуговицу за пуговицей; медленно, нежно, осторожно. Сперва был

еще виден светлый клинышек теплого ее тела, освещенного солнцем, как полоска утреннего неба между задернутыми шторами. После все это исчезло. Он словно бы отделился стеной, отсекся и от себя и от нее, не только от нее одной. Может быть, похожее чувство бывало у послушников, принимающих постриг. Он словно разом был отнесен от нее на неизмеримое расстояние. Оттуда, издали, сквозь слезы, повисшие на ее длинных ресницах, он увидел — или это только померещилось? — в глазах ее, испуганных, покорных и нежных, еще и другое — скрытное, лишь мгновениями поблескивающее как острие штыка.

«Эпоха требует двойного видения, — говорил Р. — Одно — «в свете последних директив, указаний, обязательных постановлений». Значит, вот что светится, а не солнце, не звезды, даже не уличные фонари. Другое видение — от Адама и Евы, от сотворения мира, от того человеческого, что не слишком щедро заложил в нас Бог. Но оно такое старое, ветхое, слабое — это второе видение. И оно так обременительно».

— Ты сама надумала? То, что в деканате? — спросил Бутов.

— Да! — ответила она. — И сразу затем: — Нет, не знаю.

Голос у нее был прерывистый, будто ее била лихорадка.

— Серый?

Она утвердительно кивнула.

— Что же он сказал тебе?

Бутов спрашивал безразлично, как человек, отправляющийся в дальнюю дорогу, уже мысленно чувствующий себя в пути, доделывает последнее: раздаст долги, звонит кому-то, запирает двери, шкаф, чемодан. Впрочем, ему предстояла дорога без возврата.

— Что он тебе сказал? — так же безразлично повторил Бутов.

— Так... Всякое... — Ира снова перебила себя, она боялась потерять последнюю связь, соединяющую их, последнее доверие; она уже чувствовала, что его относит от нее сильное течение — навеки уносит, — и не могла с этим примириться. — Он сказал — Р. враг народа и...

— Народа? Твой враг? Мой? — перебил Бутов. — Все-го нашего курса, который в нем души не чаял?!

— Мы не народ! — В глазах Иры снова промелькнул и скрылся опасный блеск.

— Кто же мы? Никто? — Бутов вяло подумал: «я-то действительно «никто», но ведь к тебе это слово не относится. Ты еще кем-то станешь, тебе предуготовлена дорожка». Стараясь не смотреть на Иру, Бутов сказал:

— А ты знаешь, что Михаил Яковлевич, когда хождение в народ давным-давно вышло из моды, молодой блестящий ученый, бросил кафедру, уехал в какое-то село на дальнем севере, где половина населения больна трахомой и бытовым сифилисом, ну и десять лет проработал там? Так именно он — враг народа?.. Что же Серый сказал еще?

— Что я должна заставить тебя отмежеваться. Для твоего же спасения. Иначе ты погибнешь. Вот и я...

Бутов почти не слушал ее слов. Он видел — или так казалось, что видит, — все ее мысли; девочка еще не умела быть непроницаемой. Но она уже ступила на дорожку. Неужели и она придет к тем, кто по природному влечению, или по обстоятельствам, или из страха давно свернули на нее.

Да какая там дорожка... Торный пыльный шлях, по которому следуют всякие «кадры». «А в словарях не слишком далекого прошлого «кадра» означало — шваль, шушера, дрянь», — говорил Р.

Бутов понимал, что такое опасно не только повторять, но и думать, что теперь со всеми и всегда надо быть насто-

роже. Понимал, но не мог справиться с собой... Да его-то судьба все равно решена.

...Идут *эти* по пыльному тракту, расходятся по своим местам, а места *органов* — везде. Идут, идут *кадры*. Одно-го, другого ненароком столкнут в природный кювет, ров; остальные не обернутся даже: служба, положено оглядываться только по приказу. Так неужели это суждено и Ире? Как же тогда на концерте?

Впервые он подумал, что любит Иру так, как больше не суждено полюбить, даже если он выживет. Он снова почувствовал сильный и долгий поцелуй ее на пересохших губах. И почувствовал нежное прикосновение ее груди, эту кружащую голову, еще отстраняющуюся, но уже существующую близость, предвестие полного слияния, как зарница — предвестие грозы. И все кругом наполнила музыка. Его охватило нечто вроде мгновенного сна.

Потом он очнулся.

— Значит, ты хотела заставить меня отмежеваться, чтобы Михаил Яковлевич скорее... исчез. Чтобы я сделался подлецом, и это ради меня же?!

Про себя он вспомнил слова Р.: «Раньше «отмежеваться» значило просто разделить поле. А теперь межей нет, но слово не исчезло, перечислилось по другому ведомству, приобретая такой угрожающий смысл». Р. и мертвый, даже так — мертвый больше, чем когда был живой, постоянно присутствовал в нем. Еще он подумал: «Пожалуй, я чуть-чуть рехнулся на этих проклятых хамелеонистых словах. Да какое там «чуть-чуть». Или сами слова свихнулись, и я за компанию с ними».

Р. говорил: «Новый ледниковый период увлекает слова и обкатывает в нечто новое, как ледниковый период прежний — увлекал и обкатывал валуны». Он говорил: «Сначала было слово», а они все почти, первые и главные слова человека, слова начала, выброшены из своих гнезд

и медленно подышают, как птенцы; слова бьются головой о стенку в припадке сумасшествия, теряя при этом тысячелетиями выверенный смысл. Если человечеству даровано будет еще раз начаться, прежде предстоит отбросить все до одного эти кукушечьей природы слова; иначе как же «сначала было слово»? Говорят, Анна Андреевна пишет стихотворение и, вытвердив его наизусть, сжигает на свече. На ней долг памяти. Но ведь и ее жизнь так хрупка. Ветер подхватывает пепел настоящих слов и разносит по стране. Мы дышим не только кровью, испарениями крови, но и этим пеплом. Мы мыслим не только хамелеонами, которые до постановления означали одно, а после — противоположное, но и сожженными, как некогда мученики, словами... Иногда кажется, что поэты необходимы стране больше всего иного; те — немногие. Их гением придет просветление душ, если оно суждено. Придет ли?.. «Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный и рабство, падшее...» Я-то, конечно, не увижу, ну а другие, а вы?» — спрашивал Р. Бутова.

— Значит, ты выкрикнула эту дрянь... ради меня же?

— Не только. Это был мой долг!

— Ах, так: долг предать. Тебе не кажется, что это вроде святотатства? Ну, пусть по-твоему, «ради долга». Это тебе с твоим новым другом понадобилось, чтобы половчее взять Р. за жабры?! Чтобы ему уж не вывернуться, если он еще жив. И я чтобы заодно с ним — «отмежеваться», «разоружиться», и всякое такое; проще говоря, заставить меня стать нечеловеком. Так ведь?! А Серый занимался профессором, но усек заодно и меня? И тебя тоже, пожалуй. Разве разберешь, на кого он смотрит своими поросычьими щелочками. На миллионы людей одновременно? Столько тысячелетий люди жили под небом, а теперь? Под микроскопом, что ли? Усек и уж ни одного не выпустит — будь уверена. Усек — и конец. Ты видела запечатанные двери?

Как же — самый современный пейзаж. Приходи завтра или послезавтра — полюбуешься, ведь в этом и твоя доля. А если меня убьют там, наверняка убьют, и я воскресну, ты и второй раз пойдешь к Серому?

Бутов начал с бешенством, а последние слова сказал еле слышно, прошептал с горьким чувством вины за то непоправимое, что наговорил Ире. С горьким сомнением: правда ли это? Полная ли правда?

Ира сидела на кровати, закрыв лицо руками. Слезы просачивались сквозь пальцы. Ей стало дурно, и она через силу выкрикнула:

— Открой окно!

Он распахнул рамы. Ударил сильный прохладный ветер.

...Теперь Ира была перед ним, мертвым, и он, не как при жизни, понимал, что если есть у серых враг, которого им не одолеть, то это они — девчонки, осужденные любить.

«Я умираю, совсем умираю, — подумала Ира. — И, в общем-то, не жаль. Не сошлось, такое время — что же поделать. Многое страшнее смерти».

Бутов сел на кровать рядом с Ирой и обнял ее. Она уткнулась лицом в углубление между плечом его и рукой.

Он боялся пошевелиться, сдерживая дыхание, чтобы близость не оборвалась, — была та же самая мысль, что и в Ире, — была, билась, все медленнее, как умирающее сердце.

Он поднялся и, стараясь шагать бесшумно, отошел к окну. Ира лежала, свернувшись калачиком, может быть, для того, чтобы сохранить их последнее общее тепло; но оно просачивалось, убывало.

«Убывало, убывало», — и ее заразила прилипчивая «игра в слова».

Один раз Бутов подошел к ней, наклонился и поцеловал в губы, глаза, шею, оттененную ночным светом лож-

бинку, где начиналась грудь; лицо ее было влажным и со-
лоноватым от слез. Один раз он остановился и долго при-
слушивался. Ни шороха, только Ирино дыхание.

Потом они сидели рядом и он ласкал ее. Движения его
были так замедлены, потому что нужно было навсегда за-
помнить ее всю — до крошечной выпуклой родинки над
ключицей. Когда ладонь Бутова коснулась ее губ — запек-
шихся, словно в сильном жару, — она поцеловала его руку.

— Я останусь с тобой!

— Тебе нельзя.

...Начиналась вторая половина суток ночного города,
который жил по-разному при свете и в темноте — деловой
жизнью, а потом в бреду.

— Я останусь с тобой, — повторила она.

Первая машина промчалась под окнами, за нею —
вторая. Меньше минуты было тихо, и снова промчалась
машина. Город наполнялся звуками, несколько похожими
на шелест опавших листьев; он и мертвел, как дерево, еще
накануне живое.

— Когда... если, — поправился он, — за мной придут
и застанут тебя, — сочинят террористическую организа-
цию — Михаил Яковлевич, ты и я, еще кого-либо приплет-
тут — и всем конец!

Он заставил ее подняться и проводил до дому. Очень
долго они стояли лицом к лицу, так близко, что дыхание
их смешивалось; они превращались в одно. Мимо проно-
сились машины, все чаще и чаще.

Ира собралась с силами и сказала голосом почти спо-
койным, мечтательным, ломким, как звук первых ломаю-
щихся льдинок в предзимовье.

— Я любила тебя еще со второго курса. Ты знал это?

— Нет... А может быть... Иногда казалось.

— Встретились навеки и расстаемся навеки. — Ира
быстро пошла к подъезду своего дома. У дверей остано-
ви-

лась и сказала еще:

— Подожди несколько минут. Не уходи!

Секунд через сорок зажглось ее окно, сразу погасло и снова зажглось; так — три раза. Бутов еще долго стоял, не спуская глаз с окна, остававшегося безжизненно темным. Он понял, что три раза, когда зажигался огонь, — это три света, странные слова, которые Ирина прежде часто повторяла, — прощальный подарок, вроде талисмана; что ими они обручаются. Ими она навеки отдает себя. Понял, что темнота, потом заморозившая окно, — знак расставания, необратимого, как смерть.

— ...А ты знаешь, что было с Ирой через месяц после того, как ты исчез? — спросил Некто.

Бутов молчал.

— От нее требовали признания, что ты был врагом народа и вербовал ее. Она отказалась свидетельствовать ложь и выбросилась из окна. Неужели это не дошло до тебя, и ты ничего не почувствовал, когда она защищала тебя против сотен студентов и преподавателей, полных одной только слепой яростью, слепым страхом и покорностью. Неужели твоя душа была и тогда такой мертвой, что ничего не подсказала тебе в те дни, когда девочку пытали на собраниях, и в те, когда она умирала?

Через сознание мертвого Бутова прошло: «Две женщины были в моей судьбе — мать и Ира, обе они погибли. И был еще Михаил Яковлевич — он тоже погиб. И, может быть, не там, а в длинном университетском коридоре, когда ты бежал от него; там его только добивали».

Бутов спросил себя:

— Кем же ты был на земле? Убийцей?

— Тебе дарована смерть, — сказал Некто. — Мертвая душа ничего не чувствует, почему же ты хочешь воскреснуть? Ведь воскресшему, тебе бы пришлось отвечать полной мерой за все совершённое тобой и по твоей вине. Тогда

ты даже не написал Ире, что жив; а знала бы, что ты спасся, может быть, и в ней нашлись бы силы для жизни. Ведь ты не написал Ире, что любишь ее, и ни разу не сказал ей это; даже в тот вечер, в той прощальной темноте. Неужели ты забыл, что есть ветер багровый, несущий жар и смерть, раздувающий костры, на которых жгут еретиков. И есть ветер зеленый, дарующий всему, чего он коснется, — травинке, как и человеку, — спасение?

Забыл о долге спасения?

Бутов молчал. Мертвый, он чувствовал только пустоту и тяжесть — тяжесть пустоты.

— Ты спрашивал: «Куда же деваются дети, когда забирают (тоже в новом значении страшное слово «забирают») родителей?» Ты спрашивал: неужели есть лагеря и для таких, как трехлетняя Лена из квартиры напротив, с которой ты так дружил? О детях не забыли. Построили «режимные» детские дома — может быть, еще страшнее, чем тюрьма. Лену там называли «вражененком», «вражеским отродьем». Когда она спросила, где ее отец и мать, воспитательница ответила: «Нашла, о ком вспоминать». «Родителей твоих нет и косточки их чертовы сгнили. У тебя нет никого на свете». «А дядя Саша?» Это она спросила о тебе, Бутов. «И дядя Саша издох».

Воспитательница считала, что детей нужно учить одной правдой, и пусть враженята как можно раньше узнают, кто они такие, что им предстоит: колония, потом лагерь, потом — смерть; ничего иного.

Когда-то детям, предназначавшимся в акробаты, компрачкосы гнули, выламывали руки и ноги, позвоночник, сейчас выламывают душу.

...Он знал: дневное время города, когда тот притворялся живущим обычной жизнью, — окончилось, наступает другое, когда из ворот специальных гаражей выезжают машины и мчатся по тысячам адресов; когда только

шуршание шин по асфальту, неумолимые шаги по лестницам, затаенное, полное ужаса дыхание тех, кто ждет и гадает: мимо или к нам.

Дома он достал из шкафчика вещевой мешок, отцовский еще, и побросал туда все, что могло пригодиться: куртку, гимнастерку, книги из самых любимых, тетрадь со стихами, сапоги — тоже отцовское наследство. По дороге на вокзал сделал крюк, чтобы еще раз пройти мимо Ириного дома; он был уверен в том, что окно ее должно светиться — «светиться, святиться», но окно было темным и холодным.

Он думал: «Ира не может спать в эту ночь разлуки», «Но откуда ей знать, что он решил бежать?!», «Должна была почувствовать!».

В том полубредовом состоянии, в котором он находился весь день, уже окончившийся (скончавшийся), почувствовалось, что она шепчет что-то; совсем из близости — невидимая только, — шепчет:

— Бросаешь? И это когда судьба связала нас. Навсегда? А если будет ребеночек...

Ощущение ее близости — протянешь руку и коснешься лица, мокрого от слез, и теплого тела, — исчезло с такой же быстротой, как и возникло.

— Снова заснул наяву? — спросил он себя.

В непонятном бессознательном состоянии его перенесло не просто на другой берег, даже на землю другую. На покинутом берегу остались университет, лекции, библиотека, планы на будущее, своя комната, Ира — это самое главное. Только Серый неслышно шагнул где-то — не рядом, но близко.

14.

...Поезд уходил в час ночи. В купе оказался еще только один пассажир — старик с колкими синими глазами,

прикрытыми свисающим треугольником век. Лишь только поезд набрал скорость, он распрямил на столике газету, выложил ломоть сала, хлеб, четвертинку водки и, коротко взглянув на Бутова, предложил:

— Угощайтесь!

— Спасибо, не хочется.

Бутов вспомнил, что толком не ел бог знает сколько времени, со вчерашнего вечера, но он действительно не был голоден, его только мутило.

— А это приучаться следует. Не хочется? Так ты про запас. Придет пора, оголодаешь, а приманку не схватишь. Вот и продержишься несколько на плаву...

Слова старика были странными, но сквозь ровную их безучастность чудилось некоторое доброжелательство; тревоги они не вызывали.

Старик ел, отрезая ломти сала и хлеба, мелкими глотками прихлебывая водку. На Бутова он почти не взглядывал. Поев, поднялся и стал ходить из угла в угол купе маленькими шажками, с удивительной даже умелостью используя для прогулки крошечное пространство.

— Странник? — спросил старик на второй день пути.

— «Странник»?! — поняв суть вопроса, но с нарочитым удивлением повторил Бутов. — Откуда вы взяли? Обыкновенный студент.

— Желания не имеется — молчите; это и есть наиважнейшее. Только трудновато. Иногда так намолчишься, что хоть под поезд, хуже не будет. Так с иным можно чуток раскрыться, роздых себе дать; не обойтись без роздыху. Но риск, конечно, — большой риск...

Старик говорил монотонно, не понижая и не повышая голос.

— Разве ты один?.. Многие подались в странники. Ну, те, которых... как класс; по-простонародному — под ноготь. И то сказать — не каждого тянет, чтобы под ноготь.

Особенно молодым, — вам еще мнится, что-то светится.

Помолчав, он спросил:

— Документики в порядке?

Бутов кивнул.

— Это хорошо. Однако прописываться не торопись, подайся в глубинку, места тут просторные, лесные. Устроишься в колхозе, который победнее, в леспромхозе или еще где; чтобы в тенечке, не на виду, километрах в полсотне от райцентра, — люди везде нужны; устроился, ну и сиди как таракан на щелочке. Сообразил? «Молчи, скрывайся и таись». Начнет участковый интересоваться, ты — мешок за плечи и в другой район. Или поездом из-под Архангельска, например — под Астрахань в рыболовецкую артель; у нас это «большой рокировкой» именуется. Быстро только надо действовать, не раздумывая.

Купе освещалось пыльной мигающей лампочкой под потолком, и изредка огнями маленьких станций, мимо которых поезд проносился не останавливаясь.

— Все вот так — и в страшном сне не привидится. Дрожишь, а жить хочется... Чудное, однако, человек создание. Все думаешь — а вдруг переменится. Хотя что же менялось у нас со смутных еще времен? Юрьев день отменили?! Всегда под голодом, нищетой, слепотой, несвободой; всегда было и есть — одни в опричнине, а другие опричь всяких прав.

Старик мерил и мерил купе маленькими рассчитанными и бесшумными шажками; так, вероятно, могла приучить только тюремная камера, — подумалось Бутову.

Вспомнилось одно из последних рассуждений Михаила Яковлевича, совсем недавнее: «Казнить» имеет свой антоним — «помиловать», как человек — тень; только тень эта светлая — бывает и так. Благодаря антониму жестокое слово «казнить» все же чуть ограничено в своей злобе. А правителям необходимы слова неограниченной

жестокости. Поэтому «казнить» увольняется, а пустоту заполняет старое, только несколько изменившее свою суть, вызверевшее словечко «ликвидировать». По старым словарям ликвидировали если, то — лавчонку, счет в банке. Потом возник уже преступный в глазах товарищей неологизм — «ликвидатор». Как мосток, но еще узенький: жизни не угрожающий. А теперь... Не скажешь ведь «казнить как класс», «казнили класс» — миллионы людей то есть. А «ликвидировали» — почему не сказать. Прежняя нейтральность, незначительность слова позволяет совести оставаться спокойной, гасит сопротивление. Тут от «ликвидировали лавчонку» и памяти не остается; слово взято в органы, зачислено в кадры».

В купе вошла проводница, положила на столик билеты: — Боровское через четверть часа.

Когда она скрылась за дверью, старик с минуту стоял неподвижно, кажется, прислушиваясь к шагам, пока они не замолкли в конце вагонного коридора. Потом неторопливо уложил вещмешок, бормоча нечто малопонятное — без конца и начала:

— Оно всегда неподалеку. Оно подползет, а ты — куда глаза глядят. Именно, чтобы не по плану, а куда глаза глядят. План они раскумекают, а глаза у каждого свои.

Уже с полупустым мешком за плечами, медленно отодвигая дверь, сказал еще:

— «Давайте сеять очи! Должен сеятель очей идти». Это Велимира Хлебникова. Вот, значит, как рассуждали великие. А что делать, если сеет очи — один, ну десяток, другой, а топчут тысячи днем и ночью, пока не останется наша земля безглазой, как крот. Скоро обезглазится? Или есть еще сроки, кто скажет?!

Поезд останавливался ненадолго. Бутов, когда движение возобновлялось, повторял про себя: «Оно будет неподалеку»; во сне пожалел, что не спросил старика: какое

это — оно? Как понимать слово? Представилось нечто вроде мокрицы или гусеницы — огромной, слепой, — или тоже огромной сороконожки, змеи.

Сошел Бутов в Лиственном — понравилось название.

Было еще раннее утро.

На обшарпанной стене станции висели объявления: «Нужны рабочие». В леспромхоз — лесорубы, сторож, машинистка, на Кирпичный — каменщики, штукатуры, разнорабочие, на склады пристани Серый омут — грузчики, разнорабочие. В последнем объявлении в скобках было указано: «работа временная». Это и привлекло Бутова.

Дежурный по станции объяснил, как пройти к Серому омуту. Бутов шел сперва тропинкой, прекрасным листовым лесом. Тропинка упиралась в дорогу, такую прямую, что казалась пробитой или снарядом, или порывом непреодолимого смерча. Вдоль вязкого грунтового полотна со следами грузовиков тянулись колеи, полные жидкой грязи. По сторонам валялись уже начинающие подгнивать черные стволы.

Бутов свернул на боковую тропку. В воздухе кружились березовые листья в светлом золоте солнечных лучей. Запахи первой прели были наполнены воспоминаниями лета и еще — пока только печальной догадкой о надвигающемся осеннем умирании; слабый ветерок сразу сушил лоб, был почти по-весеннему теплым. Бутов шел, бессознательно улыбаясь, и дышал всей грудью. Березы нежной, чуть розоватой белизны скрывали тропинку, словно сторожили покой путника.

«Странник» — вспомнилось слово старика.

Лес внезапно расступился, открывая неширокую реку, полноводную, уже осенней прохладной синевы. У пристани на причале стояли две глубоко погружившиеся в воду баржи с холщовыми мешками и деревянными, обитыми железными полосами ящиками. По трапам непрерывными

цепочками двигались рабочие, нагружая ждущие очереди машины. К двери маленькой постройки была прибита фанерная дощечка с небрежно выведенной клеевыми красками надписью «Серый омут». За конторкой между уцелевшими соснами протянулись веревки, сушилось белье. Этот жилой пятачок с частыми пнями, видимо, недавно был отвоеван у леса; дальше стоял нетронутый человеческой рукой недвижимый бор, пересеченный только этой прямой дорогой.

Бутов постучался в дверь конторки и, не услышав ответа, вошел. Посреди комнаты с мутными, заляпан-ными белилами окнами, над дощатым столом склонился плотный человек с бритой головой и сонными глазами на дочерна загорелом прорезанном морщинами лице. Он что-то подсчитывал, с силой отбрасывая костяшками счетов и записывая цифры на узкой полоске бумаги.

— Начальник пристани, — представился он. — По какой, однако, надобности? — спрашивал он, не переставая щелкать костяшками.

— Прочел на станции насчет грузчиков.

— А сам из какой породы, разреши поинтересоваться?

— Студент. В академическом отпуску.

Плотный человек поднял глаза. Они были тускло-селедочного цвета в красных прожилках. Сказал:

— За длинным рублем?!

— Вроде.

— Рубль длинный, однако тяжелый.

Бутов промолчал.

— Всякий народец перебивал. Даже поп-расстрига, актеришка — из театра его шуганули; убивец был — просидел срок и ко мне. Тут проволока близко; видал дорогу? — Начальник поднял руку и протянул в сторону леса. — Волков я видел, медведей, лосей, а студентов? Нет, не довелось. Документики имеются?

Бутов сунул руку в карман куртки, но начальник оста-

новил его:

— Погодим, однако. Может, через недельку домой попросишься, а мы до райцентра даром машину сгоняем: туда и обратно — сто восемьдесят километров — всё лесом, большими грязями.

Помолчал и спросил:

— Водку употребляешь?

Бутов отрицательно покачал головой.

— И таких, чтобы не это... не принимали, тоже в наших местах не видывал... Гаврилюку — он у тебя бригадиром будет, — однако, в получку поставь. Мусорный мужичонка, а попробуй тронь. — Начальник снова показал на серенькое окошко, где неясно виделась, а вернее сказать — угадывалась эта прямая разъезженная дорога, неживой прямоотой устремленная к тому, что здесь называлось «зона» или «проволака». — Гаврилюку поставь и Остафьеву; тот сразу вокруг тебя виться начнет, выгоду выглядывать, — шнырь такой. Не жмись. Зальешь ему водочкой глаза — успокоится на недельку. И язык не распушкой — такое время! Пристанут, а ты про бабенок...

...И Бутову привиделось:

...оканчивается второй месяц работы в «Сером омуте». Поздний вечер. Он угрелся в своей койке в углу барака у металлической печурки, которую по осеннему времени хорошо протапливали на ночь. Пришел начальник:

— Участковый звонил — в район вызывают. С документами и прочим. И мне лично закатил.

Начальник говорил тихо, часто оглядываясь по сторонам. В бараке все спали, было полутемно, пахло сушившимися близ печурки портянками и кирзовыми сапогами, нечистым телом, потом, водочным перегаром.

Начальник наклонился над койкой, разглядывая слившееся с полутьмой лицо Бутова.

— Ругается: «Мало в тебе бдительности!». А чего, од-

нако, делать, сам не разгрузишь. А если покопаться, да поглубже, у каждого найдется. От хорошей жизни кто сюда пожалует? Участковый сказал: «В идейном соображении сдаешь!» Раскумекал?! Статью подводит. Сказал: «Как бы тебе туз бубен не выпал». В Омуте, будь он проклят, до меня двое работали — нынче оба *там*. Истинно — омут, серый омут.

— Одеваться, что ли? — с нарочитой ленцой спросил Бутов.

— В ночь?! Тут ночью одни волки бродят или на беглого напорешься — тот, бывает, похуже волка. Или патруль по нечаянности пристрелит. Утром к семи часам у конторы — как штык! Документы, однако, смотри не забудь.

Бутов, не отвечая, снова лег, закутался с головой в одеяло и повернулся к стене, стараясь дышать ровно, как спокойно засыпающий человек.

Он многому научился за эти два месяца.

И тому, что по звериной своей природе человеку следует больше доверяться не словам, а тону голоса, выражению глаз.

И тому, что нельзя ничего страшиться прежде времени. «От страха только моргалы слепнут», — поучал любивший пофилософствовать бригадир.

И тому, что особенно цепляться за жизнь и свободу нет резона; чему быть — того не миновать.

Вспомнилось, как они наедине беседовали с Р., и с такой увлеченной страстностью, будто найди они одну-единственную верную мысль — и жизнь у всех пойдет правильнее, праведнее; будто есть такая мысль. Тогда они еще были убеждены, что земля вертится вокруг солнца, как положено, а не катится в бездну, пустоту, черноту — вот в это: проволоку, смерть. Тогда они не понимали, что если утром солнце взойдет, то так — без смысла, по привычке; да и солнце будет все более подменное, без истинного тепла.

Начальник вышел и долго бродил у дверей барака; звук шагов был прерывистый, как морзянка. Были они — так показалось — неуверенные, будто начальник ходит и думает: «А может вернуться и сказать чудному студенту: «Беги, пока есть время. Беги!» Потом шаги стали удаляться, совсем заглохли.

И сразу, без малейшего перерыва, снаружи к окну по стене прямо вверх — стал подниматься тот давешний — с чемоданчиком; вот это было странновато — поскольку барак, откуда все же эта высокая плоская стена? Но тот серый с чемоданчиком поднялся высоко вверх, влез, приделал решетку к окну.

Бутов уже понимал, что он спит, а спать никоим образом нельзя. Вот для чего сейчас уж действительно неположженное время. Раскрыл глаза, но на лицо все так же падали тени от решетки — холодной, режущей даже тяжестью. А после он сообразил: какие же это тени, просто влажный лесной воздух дует себе сквозь щели, напоминая: «тут мы — именно мы, — как в мышеловке, поторапливайся!».

Бутов поднялся, быстро, но осмотрительно, без суеты вытащил из-под койки как всегда аккуратно уложенный вещмешок — даже с запасцем сухарей и еще кое-чего, сунул в мешок всякую мелочь — бритву, зеркальце, мыло, ту самую катушку белых ниток с иглой — и, осторожно ступая, чтобы половица не скрипнула, вышел из барака. Все кругом было черным — дебаркадер, баржи, бараки, конторка; только река ближе к середине, куда не достигали тени деревьев, проблескивала чем-то сероватым и блестящим; будто вечерний свет утонул в ней, но не совсем, не до самого дна, и мгновениями выскальзывает на поверхность.

План побега у Бутова не был продуман заранее, но без малейших размышлений он пошел вдоль реки, против течения, оттого, может быть, что тянули эти отблески, тянули как нечто все же живое.

Вот так же тонула в беспредельной черной реке, не пробуя даже вынырнуть на поверхность, вся страна.

Пошел еще и потому так, что где-то близко, по другому берегу реки — он знал — граница района, а в другом районе легче скрыться, меньше опасность сразу попасться.

Глаза стали привыкать, видно стало, как быстрое течение отбрасывает к берегу узкую серую полосу пены. Лес, до того погруженный в глубокий сон, зашелестел; бредил подобно спящему человеку.

Сперва Бутов шел опушкой леса, подступающего тут прямо к берегу, иногда до крови царапавшего лицо низко нависающими ветвями, потом ступил в воду и долго брел против быстрого течения — это чтобы сбить со следа, если вздумают искать с собаками; он был в сапогах, а вода не доставала до колена. Потом как-то так угадал брод — тут была легкая и очень медленная серебристая зыбь.

Иногда он проваливался до шеи, даже уходил с головой в донную яму. Потом течение усилилось, и, преодолевая бешено крутящиеся, хотя и невысокие волны — недаром место называлось Серым омутом, — он с трудом добрался до противоположного берега.

Там дохнуло спокойствием. Далеко тянулась пологая болотистая низина, местами заросшая тростником. Вероятно, идти по ней было опасно, но он не думал об опасности. Другая, та, что осталась позади, которая жарко, как раскрытое жерло печи, дует в спину, была во много раз страшнее. Тут что? — смерть, и больше ничего, бесследная смерть в глубине болота; может быть, о такой смерти он теперь даже тосковал. А там, позади, — это, непредставимое — проволока.

Но смерть не пришла, он выбрался на луг и пошел, петляя, пока совсем не выбился из сил. Лег, как был в мокрой и грязной одежде, погрыз сухарь, но даже на это не хватало сил, и сразу уснул.

Проснулся от яркого света, бившего в глаза. Огляделся — там, за небольшой рощицей, смутно рисовались приземистые строения. Разумнее бы миновать их, идти дальше, но не хватало сил, да и безразличие к опасности, к смерти не оставляло.

Строения оказались мастерскими МТС. Здешний начальник так же лениво полистал документы, как и тот, с пристани, и направил в бригаду каменщиков. Там он проработал месяц; он не стал ждать, пока его вызовут в район, который был километрах в ста, а собрался и пошел прочь, лишь только подступила к горлу непонятная — звериной, а не человеческой природы — тревога.

...И в последующие долгие месяцы поднимался среди ночи и уходил.

Так он путешествовал почти четыре года — работал в глубинных колхозах, лесхозах, раза три или четыре попадал в партии геологоразведчиков, всегда нуждающихся в рабочей силе, работал с плотогонами, бурильщиками, стрелочником на какой-то узкоколейке, истопником, поваром; уходил, лишь только странное чувство тревоги подступало к горлу и начинало душить; брал заранее уложенный вещмешок и шел, чтобы подальше от железнодорожных путей, шоссейных дорог.

И все это всплывало в смертном сне.

А потом возникло нечто красное вместо серых пузырей, в которых он видел себя. Перед Бутовым предстал маленький молдавский городок, куда он попал после одной из этих рокировок.

Тут грянуло. Рвались бомбы и снаряды, низко летели истребители — так низко, что легко различалась свастика, — и строчили из пулеметов по бегущим. А он шел среди горящих зданий, среди криков раненых и умирающих, в военкомат, который помещался в кирпичном доме на площади, — он его заметил еще накануне.

И там, в военкомате, подполковник — старик с редкими седыми волосами и бесконечно измученным лицом, взглянув на студенческое удостоверение и паспорт, отрывисто спросил:

— Военную подготовку проходил? Умеешь стрелять из винтовки? Из пулемета? Метать гранаты?

Он отвечал на все эти вопросы одним: «да, да, да...» И подполковник выписал ему воинское удостоверение, по которому он, Бутов, был аттестован младшим лейтенантом и направлялся для прохождения службы на окраину города; там спешно формировался из ополченцев пехотный полк.

Им овладело ликующее чувство, что Серые, охотившиеся за ним, взгляд которых он чувствовал все эти четыре года, потеряли его из вида, свора сбита со следа.

И впервые он шел спокойно, под грохот разрывов, туда, на близкую окраину городка.

И чувство ликования не проходило все то время, пока война приближалась с каждым шагом и все кругом было в зареве пожаров, — до боя, в первые минуты которого он был тяжело — вначале показалось, что даже смертельно — ранен. А потом он потерял сознание, и его семь или восемь раз оперировали — он и счет потерял — в медсанбате, в полевых, а после в тыловых госпиталях. И не было страха — окончится ли операция благополучно, а только одно: что вот он выскользнул из сети, раскинувшейся по стране проволоки, выскользнул из-под слепящего прожекторного взгляда.

А потом его хотели комиссовать — это через два с половиной года скитания по госпиталям, но он упрямился и просил отправить его снова в действующую армию.

Умолил!

И было возвращение в армию — в этом Глухове под Новосибирском; он, уже старший лейтенант, должен был

принять под свою команду роту мальчиков, где самому старшему, Глебу Камышину, было меньше двадцати лет. Готовить роту, а потом вести в бой.

15.

Перед Бутовым проплывает еще одно видение Глухова. Скоро отправка на фронт; об этом многие знают точно, а остальные догадываются. И он, Бутов, сидит у открытого окошка, из которого веет летним ветерком. Вдруг двери как бы сами собой распахиваются, в комнату вбегают Тося Логовая — санинструктор батальона. Маленькая беленькая девочка, со светлым звонким голоском. Она уже приходила в роту — кажется, для проверки на вшивость. И кто-то из солдат, когда она уходила, тихонько сказал ей вслед одно слово — Маргариточка. И кто-то другой, не Глеб ли Камышин? — отозвался:

— Зачем только таких на фронт берут. У нас в селе она бы еще в школу ходила.

Камышину объяснили, что Тося не мобилизована, а бежала на фронт, из восьмого класса, кажется.

— Доброволка? — переспросил Глеб Камышин. — Так и доброволок нельзя, чтобы из школы и проверка на вшивость. А при этой проверке положено и штаны спускать.

Глебу Камышину невозможно это. — Да ты не бойся, — уговаривает Тоська, — я же при исполнении служебных обязанностей. Я и не такие виды видела, а что еще уви-и-ижу, один бог знает. Мы тут не девочки и мальчики, а одно — солдаты!

Вот был такой разговор, и Бутов, проходя мимо, слышал его от слова до слова. И сердце у него больно сжалось.

А сейчас она вбегает в расстегнутой гимнастерке, так что видна грудь и тоже разорванная, домашняя такая с кружевцами рубашечка. И она даже без сапог. «Что ж ты

так и бежала босая?» — Она плачет. Она сквозь слезы рассказывает, что вызвал ее лейтенант Воловой — тот самый, которого все боятся.

— И ты пошла?

— А что я могла сделать?

А он заставил ее выпить стакан водки, и еще, и еще...

А там повалил...

Нет, и война не всех могла прикрыть кровавым своим крылом.

И Бутову вспоминается, что когда он глядел на Тосю, на растоптанную маргариточку, сразу пришла в голову мысль: пойти к этому Воловому, — он знает, где тот живет, — угловая хата. Пойти и пристрелить. Это уже не первый раз возникало в нем звериное, а теперь самое человеческое желание — убить Волового; потребность убить. Пристрелить — иначе как же. Он даже надевает на гимнастерку пояс с заряженным «ТТ» в кобуре и еще берет про запас автомат.

«Пойти и пристрелить!» А девочка эта все плачет. И за окном тихо — только шелестят листья деревьев, да редко слышатся шаги. «Пойти и пристрелить!» Но он не идет. «Что ж ты уже и тогда не был человеком?» — спрашивает он себя.

«Да ведь позади тридцать седьмой, Ира, Р., четыре года в бегах». И он отбрасывает, вернее, осторожно кладет на место автомат; в том-то и дело, что все совершается спокойно, не в порыве, не в отчаянии — «убить или не убить», а при слабом копящем свете этого самого инстинкта самосохранения. И он стоит над Тоськой, лежащей ничком на койке, даже не стараясь утешить ее — и чем тут утешить; только осторожно прикрыв шинелью.

А о том, что случилось с ней, вскоре становится известным. Чуть ли не сам Воловой хвастал, как это он... «Всё маргариточка, маргариточка, а он знает, как с эти-

ми маргариточками обращаться. И командир батальона, когда ему доложили о происшедшем, — промолчал: и он опасался Валового, понимал: с ним лучше не связываться. Помолчал, потом сказал: «Кто их знает, девчонок. Может сама... Этих поблядушек насмотрелся. С виду, конечно, чистенькая такая: нежная и санинструктор прекрасный, смелая — сбежала к нам, фронтовикам, из школы. А как докопаешься, что внутри? Я не прокурор, чтобы докапываться. Да теперь с этим, чтобы «ППЖ» заводить, будто бы даже сверху поощряется».

А Воловой ходит себе улыбаясь. Нет, от Серых не уйдешь. А ее, Тосю, уже зовут в полку не Таечка, не Таисия Константиновна, а Тоська-потоська, или уже совсем прямо — Тоська-потаскушка.

И уже известно, что она не с одним Воловым была, а после него баловала и с другими. И когда стали так говорить о ней, лицо ее огрубело — только глаза остались синие, синие, чистые, как небесная синева, немного мученические. Взгляд стал неподвижным; иной раз задумается, долго стоит на месте понурившись. Может быть, она думает о том, что не это себе представляла, когда бежала в армию. Но мужикам нужно именно это, так что ж тут поделаешь. И когда часть, где служил Бутов, попала на фронт, это словцо подлое «потаскушка» уже прилипло к ней. И хотя она десяткам спасала жизнь, была такой — бесстрашнее и не представишь, — словцо уже не отлипало. И особенно грязно о ней говорили те, кому она отказывала, потому что многим она все же умела давать отпор. А кого «успокоить» — это стало у нее такое словцо, — она выбирала не по красоте, и уж, конечно, не по званию, выгоде, а только из жалости.

И однажды, еще в Глухове, Бутов позвал ее, чтобы зашла, когда будет свободна. А она, дурочка, поняла не так, и ответила:

— Нет, с вами, товарищ старший лейтенант, я никак не могу. — Смотрит, а из глаз льются слезы. — С вами, если выживем... Тогда до гроба жизни — только свистните: «Тоська, ко мне»; и в замужество меня не позовете — все одно.

А он сказал ей с обидой — неправильно ты меня поняла, Таисия Константиновна. А после спросил:

— Зачем ты себя так ведешь?

— Да им же нужно — солдатикам, — ответила она. — Нам скоро в бой, помрет, и девочки не поцелует. И если уж тот гад, так чего другим отказывать? У них же смерть за плечами, а не вещмешок, тут греха нет.

— Так ведь и у тебя смерть за плечами. Ты же и будешь вытаскивать нас из-под огня, и перевязывать, пока сама не попадешь под пулю, мину, снаряд, бомбу.

А она улыбнулась сквозь слезы и только махнула рукой: себя, мол, мне не жалко. Разве я живая после той ночи? Вот если с вами расстанусь — это жалко. Что стихов никогда не услышу.

И они попали на передовую, у проклятой высоты Маяки, которую уже атаковали девять раз всем полком, потеряв убитыми и ранеными человек триста. А сколько еще суждено потерять под кинжальным огнем немецких пулеметов, бивших из двух дотов, от обстрела самолетов, летевших прямо над головами. Зенитных пулеметов полку почему-то не было придано; почему — никто не мог сказать. И вместе с немецкими бомбами на землю летели разноцветные листовки с издевательским стишком: «Вот так вояки, не взяли Маяки».

В те сутки перед рассветом, по сигналу двух зеленых ракет, была назначена десятая лобовая атака. Вечером к Бутову пришли гости — Тося и сосед слева, командир первой роты лейтенант Алексей Теплов. Пришли попрощаться перед боем: ведь кому суждено вернуться — неизвестно. У Теплова оказалось на доньшке трофейной фля-

ги немного спирта. Выпили из крышки грамм по тридцать, потом Бутов читал стихи, потом просто глядели друг на друга так, как смотрят на войне перед боем, — прощально и словно в последний раз. У Тоси в глазах были слезы, от стихов ли, от жалости к Теплому и Бутову, которых она любила, к солдатикам, прикорнувшим на дне траншеи. От жалости, но не от страха — страха она не знала, вернее, чувствовала обреченность: не сегодня убьют, так завтра, какая разница.

Посидели немного и разошлись по своим местам. Ровно в 5.45 началась артподготовка. На этот раз командование не поскупилось, подбросило, судя по силе огня, два артдивизиона. В 5.55 взвились одна за другой две зеленых ракеты. Пробегая вместе со своими солдатами мимо Волового, стоявшего, пригнувшись, у выхода из траншеи с «ТТ» в каждой руке, Бутов услышал последние членораздельные слова, которые ему суждено было услышать в тот день и в длинную череду других дней, когда он, тяжело раненный, оглохший от контузии, лежал в госпитале между жизнью и смертью:

— Драпанете, бляди, — сам лично пристрелю, без всяких трибуналов!

И снова ощутил непреодолимое желание как-то уничтожить этого Валового.

А потом огневой шквал медленно перекачивался к вершине высоты, и за ним редкой цепочкой бежало человек сто солдат с автоматами, винтовками и гранатами. Больше людей в батальоне не уцелело.

И артобстрел — единственная завеса между сотнями немцев и этой цепочкой — вдруг пересекся: то ли не хватило снарядов, то ли вся атака была задумана как отвлекающий маневр. И во вдруг установившейся тишине стал слышен близкий перестук пулеметов, бивших в упор из двух, так и не подавленных нашей артиллерией дотов. Про-

должая бежать вперед, Бутов успел еще оглядеться и увидел, что вместе с ним бегут всего два или три солдата его роты; одного он даже узнал, маленького Глеба Камышина, но и тот сразу упал, убитый, как оказалось впоследствии.

И успел подумать, что, вероятно, пропустил красную ракету — отбой атаки, — не разглядел, и, значит, все эти раненые и убитые, лежащие по всему склону, — на его, Бутова, совести. И, падая с пробитой пулею головой, успел подумать, пока кровь заливала лицо, что рана смертельная и это хорошо, потому что после бойни, происшедшей, по видимому, по его, Бутова, вине, он все равно не имеет права жить. И успел увидеть Тосю, бегущую к нему. И успел пожалеть ее: зачем она-то, школьница, бежит навстречу смерти? И тяжело, с огромным трудом смог составить фразу, приказ:

«К Глебу Камышину беги, а я и сам отдам богу душу».

Но произнести фразу не смог; увидел еще, как сквозь кровь, заливающую глаза, весь мир охватывает пожар, зарево. А потом потерял сознание с последней мыслью: «Я убит, и я убийца — больше никто».

А потом он лежал в госпитале, между жизнью и смертью, глухой от контузии. И только через месяца два или три получил записку от лучшего своего фронтового друга — Алешки Теплова, к которой было приложено письмо тяжело раненой Тоси. Она писала: «Нет Тоськи, товарищ лейтенант. Ни такой, какой была в школе, и в Глухове до того... Ни такой, какой стала бы после войны; а я бы другой стала — в это уж одно, пожалуйста, поверьте, если можете только. Потому что всё во мне, всё пропиталось кровью, и своей, и чужой; да разве она чужая — родная ведь. А кроме этого, внутри ничего во мне не переменилось во всю жизнь. Как была в школе еще, и когда впервые моих солдатиков — мальчишек увидела и полюбила горькой любовью; и вас, и товарища старшего лейтенанта

полюбила, и стихи. А то, что потоптано, все надежда — выпрямилось бы; Бог таких, как я, может быть, прощает? — нет ведь моей вины, а только тот гад, да бабья жалость, в которой я не каюсь: не своей волей на тропочку эту свернула. Мечтаю — выпрямилось бы, просветлело. Да теперь чего мечтать?! Завтра — либо могилка, либо совсем покалеченной останусь. Поправлюсь хоть немного, наберусь силенок, если останутся они во мне, и к девочкам сестриным — далеко, за Урал, за Полярный круг. Сестра ведь с месяц как померла от голодухи и болезней, а шурин — на фронте погиб... Три девчоночки одни остались. Чтобы не рассовали их по детским домам — будем вместе горе мыкать. А адреска своего никому не пошлю: ни вам даже, товарищ лейтенант, ни товарищу старшему лейтенанту Бутову. А думать о вас буду до крайней секундоочки. Да и вы нет-нет да припомните Тоську; такая моя к вам просьба. Припомните, а я сразу почувствую, угреюсь.

И все мне кажется — живы вы останетесь; не могу я все же, чтобы не помечтать. Вот и сейчас — все мечтаю. Больно, так больно — и в душе и везде, — а я, дура, представляю себе деток. Иногда даже — это раненько, на самом начальном рассвете проснешься, и вдруг чувствую, что улыбаюсь; и на глазах слезы — не горькие, те я все, какие только были — выплакала. Спрашиваю себя: «С чего ты это, Тоська?» И самой себе не могу ответить. «Так, от мечты...». «Да какие у тебя могут быть теперь мечты-мечтания?» — «Никаких, конечно!»

А адресочек мой, если выживу, — пожалуйста, не узнавайте. И другим передайте, чтобы не узнавали, — которые помнят еще. Очень мне будет иначе тяжко. Хочу в невидимки податься — как в сказках, — одна мне это дорога.

Улыбаюсь, улыбаюсь, пока темно еще, все в палате спят, никто не видит. А потом вдруг зареву, чуть не в голос. Не знаю даже почему. Не о себе заплачу: подумаю — кто

это вас из-под огня будет на плащ-палатке или на шинели вытаскивать? Кто успокоит? Хотя и то — «Тосек-потосек» много. Ведь во всем батальоне вы одни с Александром Максимовичем меня Таисией Константиновной величали, или еще лучше — Тосечка, Таечка... Другие только если в бреду, а вы так — в полном сознании. Это нужно же!.. А старший лейтенант Бутов сказал мне как-то давно, еще в Глухове: «Я через тебя стихи вижу. Ты же как есть — прозрачная. Через свои васильковые глаза». Сказал и забыл, должно быть, а я умереть могу очень даже скоро, а словечек этих не забуду, будто и после смерти можно помнить. Слова помню, а лица его почему-то припомнить не могу. И стихи тоже не припоминаются, помню только, как плакала, когда слушала их. А вас хорошо помню — будто вы рядом — с вихром вашим, не с улыбкой. Вы ведь почти никогда не улыбались, только вдруг такая ласковость возникала в лице, что все кругом светлело... Вас — помню! А вы меня, товарищ лейтенант, забудьте! Богом прошу — забудьте! И другим скажите, чтобы забыли, даже старшему лейтенанту. Была Тоська и былшем поросла. Это если суждено мне остаться живой, и вы узнаете, что я не померла».

16.

И Бутов видит: ночь, только-только светает. Три девочки спят на широкой тахте, разметались под одним одеялом. А она, Тося, у корыта. Неодетая — только в штанишках и рубашке — стирает бельишко; задумается на минуту, сотрет слезы, улыбнется и снова за работу. Одна бретелька соскользнула с плеча, и на месте груди обнажился уродливый шов. Вот, значит, как... И левая нога до колена отрезана — вместо нее протез. Вот оно как — Тая, Таечка.

И, боже, как постарела она. Хотя ей и не много лет; совсем седая, именно как маргариточка с уже почти вы-

сохшим стеблем. Никнувшая к земле. К зеленой траве. Словно ища в ней укрытия. Но глаза у нее не неподвижные, непонимающие, как были после того «случая» — как она говорила — там, в Глухове; глаза не непонимающие, а, напротив, такие, будто Тосе открыто нечто дальнее, недоступное; то есть недоступное собственно ему, Бутову, — что он знает о других, чтобы дерзнуть говорить?! Открыт сам печальный смысл жизни. Истина ее, как была открыта, например, Сонечке Мармеладовой.

А потом он видит деревеньку в зеленом, зеленом лесу, на бережку синей речки в песчаных берегах; и сразу почему-то узнает: это и есть Пригожее, родная деревенька Глеба Камышина; это именно узнается само. Хотя ведь никогда он Пригожего не видел и ничего — тогда, при жизни, — о нем не слышал.

На самом краю деревеньки — наполовину вросшая в землю покосившаяся изба; он сразу узнаёт, что это и есть изба Камышина, уходящая в землю вслед за молоденьким своим хозяином; и при этих мыслях такая непереносимая боль сжимает сердце, будто оно живое, и второй раз повторяется умирание.

Или в несчетный раз?

И он отталкивает от себя эту боль, ему необходимы все силы, чтобы разглядеть в полумраке избы — Глеба Камышина. Узнать, что он, Глеб, был только тяжело ранен, не убит, а теперь совсем ожил. Подтвердить эту надежду.

Но Камышина нет.

Только старушка бабушка (Бутов и ее узнаёт) ходит по избе, надолго останавливается у подслеповатого окошка и глядит слезящимися глазами на пустую непроезжую заросшую травой и кустарником дорогу. Будто в глубине ее может еще показаться тот, кого она ждет и будет ждать всегда до близкой смерти. Они встретятся в той вечной жизни; а на земле его нет, он убит.

Он убит!

Старушка подходит к иконе, перед которой светится лампада, — старой, почти совсем черной, — достает из-за иконы стертый конверт, то самое письмо, которое Бутов писал из Глухова в дни перед отправкой на фронт, — «благодарственное письмо от командования». И достает две маленькие фотографии. И, странное дело, почерк свой Бутов узнает, а лицо — будто даже совсем нет лица — пустота.

Старушка по очереди глядит на каждую фотографию. На лице у нее теперь нежная и печальная улыбка, слезы скатываются по извилистым морщинкам. Бутов слышит слова благословения. Первого благословения после смерти матери, обращенного к нему.

На обороте той неразглядимой фотографии он читает слова, написанные о нем Глебом Камышиным, что это Бутов, «самый храбрый и хороший командир на свете».

А через несколько дней ему, Глебу, суждено погибнуть, потому что он, «самый хороший командир», не разглядел красной ракеты — отбоя атаки. И теперь он уже различает лицо на фотографии — будто изображение есть и одновременно нет его. Словно он, Бутов, существовал и не существовал.

Открываются другие картины — пестрые, яркие, и серые тоже, но смысла их Бутов не понимает, хотя сосредоточен сейчас на единственном желании увидеть и узнать, понять. Хотя сейчас в мертвом сознании возникают слова — «не спи, не спи художник, не предавайся сну, ты вечности заложник у времени в плену». Слова, написанные другим настоящим поэтом.

Но остальные картины неразличимы, только можно догадаться, что на них так серо, призрачно, контурами — Наталья Михайловна, Котька, Дерюгин и многие другие. И он, Бутов, хотя и притворяется — он много в жизни притворялся, неужели и смерть не отняла этого свойства? —

хотя он притворяется, что не знает причины, по которым картины возникают неясно, но отлично сознает, что это от того одного, что другие забыли его.

Так скоро?

Почему же «скоро»? — начали забывать при жизни, давным-давно, а теперь и совсем ушли.

И Наталья Михайловна?

Да она-то первая.

И Котька?

— Тот еще с тех пор, когда ты его, мальчишку, пьяный ударил по лицу, сначала по одной щеке, потом — по другой. Помнишь?! И мальчик, даже не стерев с лица пьяного бутковского выражения, не изменив пьяной походки отца, пошел к воротам.

И ты подумал: «Не велика беда — ушел и вернется, зато битый умнее станет». Ушел и скрылся за воротами. И ты даже не заметил, что вместе с ним исчезла из твоей жизни та вот «сущность», о которой говорил пьяненький старичок в пивной в день рождения сына — в радостный, сияющий день.

Как же она померкла, эта «сущность»?

Разве так бывает? Разве это справедливо? И сам себе ответил:

— Только так и бывает. Сразу и навсегда! Только в этом справедливость.

А потом слабое, очень слабое сияние заливают еще один уголок пространства, постепенно открывающийся мертвому Буту. Оно льется от лампадки, теплящейся перед иконами в углу душевой, без окон, каморки. И сияние это позволяет различить Варвару Борисовну, которая опять «скукожилась», как, вероятно, говорит сейчас Котька. Опять обнаружили под исчезнувшим, пахнувшим нафталином белокурым шиньоном гладко причесанные седые тонкие волосики, едва прикрывающие серую мучнистую кожу. Но все-таки

она не прежняя, какая-то сила в ней. Нежная и даже гордая сила — как же он, Бутов, не замечал ее при жизни, или тогда этой силы не было, ее именно и вызвала смерть Бутова? Смерть, подошедшая вплотную и к старухе?

С этим нежным и гордым выражением ссохшегося личика Варвара Борисовна стоит на коленях перед иконами. И она шепчет слова молитвы, как та старушка из Пригожего. Молитва эта за него, за Бутова — как за существовавшего, как за того, который еще может существовать. И куда-то эта молитва доходит; доходит в высоту — ужасно печальным благовестом.

И она тоже вписывается в решение, которое рождается там.

...А потом Бутову снова видится война. Они едут по автостраде уже на немецкой земле из штаба армии, где он, и Воловой тоже, сейчас проходят службу, — в штаб дивизии за картами-двухкилометровками и еще какими-то документами. А у Бутова острое желание — впрочем, не проходившее со времен Глухова, — вынуть «ТТ» и пристрелить Волового. Но он отводит руку от кобуры, чтобы преодолеть желание. И делает это не от недостатка силы воли, а просто из гадливости, которая мешает раздавить ползущего таракана; но таракан — какой от него вред?! А это само зло, источник зла. Он старается только не смотреть на Волового и все-таки нет-нет, но примечает подленькую улыбку у того на лице.

Броневи́к мчится по автостраде. И вдруг откуда-то справа, но изда́лека, слышится страшный, все нарастающий и непрерывный вой. И Бутов вспоминает себя пятилетним, таким, каким был в день смерти матери; и так представляется, что вой, который он слышал тогда, не прекращался на земле в течение всей его жизни. Вой убиваемых. Вой, который то удалялся, то приближался, но был всегда: то слабел, то усиливался; и теперь этот вой все бли-

же, отчаяннее.

Бутов, не глядя на Волового, говорит:

— Надо свернуть, — он показывает на съезд с автострады, ведущий направо, откуда и доносится непрерывный вой.

— Не имеем права, поскольку выполняем задание командования, — отвечает Воловой все с той же, даже еще усиливающейся подловатенькой улыбкой.

— Там убивают! — почти кричит Бутов. — Понимаешь — в эту секунду там убивают!

— Не имеем права сворачивать! — снова повторяет Воловой. — Поскольку выполняем приказ. Подумаешь, где-то кто-то кричит, а мы нате... Офицеры штаба армии, слава богу, а не скорая помощь...

И хотя Бутов старше Волового по званию и может решать, он не приказывает водителю броневика спуститься по съезду и ехать туда, откуда несется зов. И пока это видение стоит перед ним, он понимает: тогда, в пять лет, — он ничего не мог сделать для спасения матери, и все-таки на него легло проклятие. А сейчас в его силах было спасти, может быть, тысячи людей — он знает, что это так, — спасти беззащитных. И уже ничто на свете не снимет с него новое проклятье, придавливающее к земле, продавливающее в глубину.

Но все-таки приказа водителю броневика он не отдает. Почему?

Он и сам не мог бы ответить почему, просто не хватило решимости.

И понимает, что это, произошедшее в три часа ясного весеннего дня на автостраде, ведущей к Зееловским высотам, непременно решает его судьбу, которая сейчас определяется там, наверху. Понимает, что сейчас он предстоит перед теми, всё решающими, — убийцей, которому нет прощения.

Но когда они едут обратно из штаба армии, он все-таки

приказывает водителю ехать налево, хоть стон — протяжный, безнадежный — оттуда уже не доносится. Тишина. Действительно мертвая тишина.

— О промедлении в выполнении приказа будет доложено, — говорит Воловой.

И близко от автострады, так километрах в двух, они видят лагерь, окруженный оградой с колючей проволокой, со стороны автострады закрытый для взгляда леском.

Ворота открыты. Все пространство от ворот до серых цементных блоков заполнено трупами; а ведь сначала показалось, что это живые ползут по асфальтовой площади от цементных блоков к распахнутым воротам; но это только так кажется; «мечтается», — сказала бы Тося.

И на вышках пусто, но выставили тупые свои рыльца пулеметы, так что видно, откуда скосили эти тысячи людей солдаты охраны лагеря; расстреляли и ушли, выполнив приказ.

И уже трупный запах, еще — еле заметно, дымком курится над площадью.

Бутов все ходил и ходил между лежащими людьми. Но они мертвы — мертвы; с остекленевшими глазами, без прощания глядящими внутрь Бутова.

Но нашелся, наконец, живой, всего только один из тысяч, устилающих асфальт. И этот живой сказал:

— Убили нас всех вчера днем.

— Между тремя и четырьмя? — спрашивает Бутов.

— Да, между тремя и четырьмя, вероятно. Мы ползли к воротам, сквозь огонь пулеметов, длинными очередями бивших с вышек. Нас расстреливали, а мы ползли через частый дождь смерти. А я почему-то остался на свете, — сказал этот единственный; беззубый — выбили, что ли, ему зубы, или они сами выпали от голода, авитаминоза, черт знает от чего; беззубый, как Р. там, в тундре.

Но он был молодым, этот единственный оставшийся

в живых, хотя он шамкал, и кожа обтягивала череп; только глаза остались живыми. Он сказал:

— Вчера, около трех, мы перерезали проволоку и взломали ворота, потому что услышали нечто похожее на шум мотора, и подумали, что это спешат нам на помощь. Мы работали, а нас расстреливали с вышек, где еще оставались солдаты немецкой охраны. И шум броневика, или танка, или машины приближался — и мы почему-то были уверены, что это к нам спешат. А после шум стал удаляться. И я единственный остался на свете, какой-то труп заслонил меня. И я понял, что это только примерещилось, будто кто-то спешит на помощь, а кругом пулеметные очереди, свинцовый град. И тишина.

— Нет, — сказал Бутов, — шум мотора вам не примерещился... Подождите, мы придем за вами санитарную машину из медсанбата.

А тот ответил:

— Вряд ли я дождусь.

— Дождетесь, тут близко медсанбат.

— Да и зачем мне жить, — сказал молодой, казавшийся стариком. — Зачем, если я единственный. Что делать одному.

— Но ведь есть же на свете еще люди, — сказал Бутов.

— А е-есть?! — странно и вопросительно протянул этот молодой старик. — А я думал, что остались только мы, да те, что с пулеметами и овчарками. А больше никого.

— Есть! Есть! Есть! — повторил Бутов как мог громко, убеждая и себя тоже, потому что он уже сам не верил, что люди на свете есть.

И откуда-то очень издали раздалось печально и тоскливо:

— Так вот, значит, как давно ты был мертвым?! Или даже гораздо раньше?

Бутову привиделось. Он уже в мирной жизни и где-то служит, получая грошовую оплату — ведь специальности у него никакой. Так только, то, что выучилось в школе, да и то наполовину забыто; за что же платить?! Он служит, но живет не службой, вообще ничем иным, а только стихами. До того он всегда посылал стихи почтой, они приходили обратно в сопровождении до странности сходных рецензий: что вот, мол, хотя в отдельных строках и проглядывает... но отвлеченно и без достаточной ясности... А Пушкин учил, что... И есть досадные стилистические небрежности — все стихотворение шестистопным ямбом, а тут хорей, а дальше и вовсе белый стих... И надо больше читать классиков.

Он внимательно перечитывал рецензии и клал их в ящик письменного стола вместе со стихами; так что ящик был уже полон этим смещением сокровенного и враждебного.

И когда он бросал стихи в ящик, чувствовал, будто нечто отрывается от сердца, падает, как запоздавшие, почерневшие от холода листья с дерева.

Становилось невыносимо больно. Он выходил из дому и направлялся к черному ходу большого восьмиэтажного дома напротив. Там всегда почти можно было застать человека в черном клеенчатом плаще и такой же черной клеенчатой шляпе; его в этом районе, где было много заводов, называли «Трактирщик». Он обычно сидел на высоком сундуке, обитом железными ржавыми полосами, и к нему сюда на черный ход, известный чуть ли не всем в округе, заходили группки людей, рабочих в основном, по трое. Он доставал из сундука, запиравшегося большим висячим замком, поллитровку, разливал бутылку в три стакана, давал даже закусить — кусочек соленого огурца, корку хлеба, а то, что оставалось в бутылке на дне — всегда

одну и ту же меру, граммов пятьдесят, — сливал в большую бутылку, стоявшую за сундуком: это была его доля оплаты за услуги — закуски, стаканы, которых он не мыл, а только протирал грязноватым платком.

Заходили к нему за день таких «трояков» — как он их называл — по двадцать или тридцать; а в субботные и воскресные дни в три и четыре раза больше. По понедельникам к нему забегали — опохмелиться — безнадежные алкаши; тем он наливал из большой бутылки за сундуком и не давал закуски; а в дни получки «безнадежные» платили не столько, сколько задолжали, а в полтора раза больше.

Такая у него была ставка.

А двоих он поил бесплатно, примерно пол-литра в день «за съём помещения», как он выражался, — управдома и дворника.

Говорили про этого — в черном клеенчатом, — что он очень богат, даже построил себе за городом двухэтажную дачу; но так ли — в точности никто не знал.

И еще он поил бесплатно Бутова; была у него такая ставка: сто граммов из большой бутылки — стих; «стихи я уважаю», — говорил он Бутову. — Цена им грош, а я вот слушаю.

Бутов отвечал:

— Да разве я не ценю?! Очень даже...

Как-то он сказал Бутову:

— А ты, брат, сивухой подванивать стал. И стихи твои тоже помаленьку подароматились... А?! Не замечаешь.

Какая ему выгода спаивать его, Бутов тогда не понимал, только иногда, глядя на него, про себя повторял эту вещую строку: «Черный человек, ты прескверный гость».

Однажды Черный сказал:

— А я так рассуждаю — дома жена поколачивать стала? Нет? Ну так будет поколачивать, — этого не миновать. — Налил еще и добавил: — Все придет на круги своя.

Тогда казалось, что это просто злой человек. Толь-

ко после смерти Бутов понял, что была у него своя цель. Был он не только злой и жадный, а один из серых. И Бутов с пьяных глаз выбалтывал ему что-то нужное. Был он из серых, один из серых, которые везде.

Вот тогда-то Бутов стал пить; сперва изредка — так, в неделю раз, а после чуть ли не ежедневно, а иной день даже по два раза.

Вот тогда-то Костя и стал изображать, как «предок бухой является».

А когда Бутов пил, он почему-то думал все об этих самых рецензентах. Все они воображались очень маленькими. Думалось, что они из неудачников, тяжело ведь день за днем писать одно и то же, одно и то же в каждой рецензии.

И думалось, что денег рецензентское дело дает совсем мало, а вот приходится этим заниматься. И думалось, что когда они пишут: мол, надо учиться у классиков... еще Пушкин говорил... — то воровато оглядываются на полки, где стоят эти самые классики, давно не раскрываемые тома; времени нет... все не хватает времени... Или из единственной своей комнаты в коммунальной квартире, где теснятся все домочадцы, рецензент выскальзывает куда-либо, где можно остаться наедине с самим собой; ну, хоть в ванную, а если ванной не имеется — в уборную. Станный, разумеется, Олимп, но что поделаешь.

Выскальзывает туда и шепотом, еле слышно, читает стихи, которые написал когда-то и на которые получил точно такие же рецензии, какие сейчас пишет сам. Читает в крошечном и не очень чистом помещении, а строки, сохраненные памятью, бьются, бьются о стены, как птица, случайно залетевшая с улицы и заплутавшая. А он прислушивается к этим строкам — то как к чужим, то как к своим, — и возникают мысли и чувства, которые известны лишь ему одному и эти стихи породили. И иногда, вдруг,

как укол в сердце, рождается чувство, что они настоящие, самые настоящие; даже слезы выступают на глазах; единственно настоящее, что суждено было в жизни.

И рождаются новые слова, целые строки, порой многоцветные, словно оперение жар-птицы. Их бы удержать, записать. Но где их тут запишешь? Да и кто-то — квартира коммунальная — деликатно или не слишком деликатно тянет за дверную ручку, нетерпеливо переступая с ноги на ногу: не один ты тут — все мы люди, все человеки.

А он спускает воду, выжидает для приличия некоторое время, а потом возвращается к столу, к недопитому стакану холодного чая, к недописанной и такой же холодной рецензии.

И вот Бутов, выслушав очередные попреки жены, решается сам пойти в журнал — увидеть тех, кто так рельефно представлялся ему, или убедиться — что они совсем иные... Робко открывает дверь в комнату, по которой из угла в угол ходит человек с лысой головой; и представляется лысому: что он, мол, Бутов, много раз посылал в журнал свои произведения, получал отзывы, но хотел бы лично узнать, поподробнее.

— Прекрасно, прекрасно! — говорит человечек, роется в бумагах долго, неторопливо, пока не попадается синяя папка, которую Бутов сразу узнает. Папка, сто раз путешествовавшая в журналы и обратно из журналов.

Маленький, просмотрев стихи в папке, говорит, не глядя Бутову в лицо:

— Любопытно, хотя «печатанию не подлежит», как говорили некогда. Не свое, все больше из книг, знаете. А некоторые и просто того... сомнительные, даже заключают элемент вредности. Что это за трава, превращающаяся в «перекати-поле», в мертвое; или мечтающая. Если мечтает — значит, и не трава, и не мечта, а, простите за выражение, аллегория. А аллегии при нынешнем между-

народном положении, знаете ли, не поощряются; просто-та нужна, как у классиков, и бдительность. Что же — это про людей? — куда их гонит ветер? — я ведь со всем расположением спрашиваю?! Про людей? Да или нет? Что же у нас, людям обрубают корни и всякое такое? Что нам показали — воля наша, идете ва-банк. Но другим демонстрировать решительно не рекомендую. Доведет до беды; до этой же самой вашей косы, — так, молодой человек. И потом — с чего это вы стихами занялись? Семья есть? Что же вы думаете этим «перекати-поле» прокормиться? Идеализм и больше ничего. Пустопорожность. Жена? Что ж — она, как говорится, «найдет себе другого», поколоритнее, а вы с чем останетесь? Так и на самом деле в перекати-поле недолго превратиться. Воевали? Ну, тем более, — раз военной каши испробовали. Зачем же сейчас на рожон лезть. Анализом, например, хотя бы цикл: «Война» — странненько, по меньшей мере, странненько. — Бутов сразу замечает, что это любимые слова лысого: «анализом» и «странненько»; «анализом» — звучит как бы вроде «слизнем» — то есть было и нет. — Разве этому учат нас классики, как классики марксизма, так и вообще. «Революция — повивальная бабка истории». А Революция — род войны, — значит, какой вывод следует?! Или те же классики литературы, хотя бы анализом Пушкина. Тот же Петр в «Полтаве»: лик его ужасен, а через запятую — он прекрасен. А где оно у вас — это самое — через запятую? Отсутствует. Начисто отсутствует. Или ваш стишок «Смерть». Мол, не слышит солдат своей пули, своего снаряда, только над мертвым деревья склоняют головы, снаряд пропоет «реквием», как вы выражаетесь, тому, кто ничего не слышит. Проанализом, и что получается? Вся наша военная лирика вычеркнута — она о мертвых, а мертвые, мол, не слышат. Странненько!.. Значит, лирика эта бесполезна, даже отчасти — как вы выражаетесь — кощунствен-

на?! Это уж ни в какие ворота не лезет, даже при самом широчайшем соревновании стилей, мыслей, чувств, какое полностью регулируется социалистическим реализмом. А «Тая-Таечка» — про санитарку? Тут уж без всякого анализа клеветой пахнет. Может быть, и имелись отдельные негативные явления — воевать не в бабки играть, — но нетипичные. Или поле расстрелянных лагерников, как скошенное поле, а над ним веет не запахом спелых колосьев, а ветром смерти; и он не местного значения, а как бы на весь мир задувает. Это, извините, как понимать? На что мобилизуете?! Да и ассоциации может вызвать: писал, мол, одно, а в уме держал другое. Мой вам совет: домой — и всю папочку сжечь. Гоголь, тот, конечно, ошибочно поступил, что сжег, а вам очень полезный пример. Сжечь и пепел перемешать для самой окончательности. Годы у вас длинные впереди — ищите другое примененье.

— Какое? — спросил Бутов.

Лысый засмеялся: — Управдомом, как Остап Бендер советовал, или ботинки «чистим-блистим», что ж, и это «чистим-блистим» получше перекаати-поля и всего, что может «перекатиться», так сказать.

18.

После посещения журнала Бутов сжигает папку со стихами (а такое чувство, что он сжигает самого себя, все внутри становится неживым). Сжигает и идет в институт, куда его приглашал военный сослуживец, фронтовик — очень, между прочим, похожий на Волового, но не Воловой, конечно. Начальник института встречает Бутова с полной приветливостью — они даже целуются как фронтовики. Потом ведет его в маленькую комнатку, сплошь увешанную портретами ученых, вероятно. В комнате над единственным столом, заваленным книгами и бу-

магами, близоруко склонившись над какой-то рукописью, сидит щуплый такой человечек. Начальник говорит этому щуплому:

— Сдадите дела новому заведующему отделом. Понятно — Будкевич Игнатий Соломонович? А сами переводитесь в младшие научные сотрудники и будете работать в общей комнате.

И вдруг открывается с размаху дверь, в комнату вбегает очень молодой человек, с радостной улыбкой на лице:

— А я ведь, Игнатий Соломонович, все понял. Вы, конечно, правы, все дело в том, что по-арамейски слово «вдруг»...

Но молодому человеку Начальник не дает договорить:

— Чего это вы врываетесь без стука? А обращаться надо к вашему новому руководителю — Бутов Александр Максимович, прошу любить и жаловать, тем более — новый кадр, фронтовик.

Будкевич и молодой человек вместе выходят из комнаты. Когда Бутов с Начальником остаются одни, тот говорит:

— С деловой точки — Будкевич вполне подходящий. Языки древние, старательный. А по кадровой линии приходится обновить.

И, видимо, для полной ясности:

— У нас учреждение особого типа — понятно?!

Бутов вдруг осознает, что попал туда, от чего столько лет бежал. На мгновение мелькает: «Уходить, и не оглядываясь. Сейчас же». Мелькает и меркнет: «Да и куда уйдешь?» И ничего «такого» ведь не заставляют делать. Пока?! Пусть так — потом видно будет. И на что жить? И что скажет Наталья Михайловна?! Опять нищенствовать?! Сил нет, что-то такое выедено в груди, еще со времен побега от Р. в коридоре университета. Рак души.

Бутов листает бумаги на столе, вглядывается в одну и ничего не понимает, не то что слова, но и буквы...

Начальник, уловив его растерянность, снова повторяет:

— Привыкнешь — не боги горшки обжигают.

— Да, не боги, — с растерянной кривой улыбочкой отвечает Бутов; и почему-то снова вспоминает Р.; такая тоска охватывает его, душит.

— А первое время Будкевич поможет — введет в курс дела. Ну и этот молодой человек — Степан Дерюгин; па-рень по анкетной части ничего, однако ученик Будкевича. Ты его слушать слушай, но приглядывайся. Понятно? Ко всем приглядывайся! Для того и введен в штат.

Начальник уже при первой встрече сказал Бутову:

— Можешь называть меня майором.

— Военные воспоминания, романтика? — спросил Бутов.

— Военные воспоминания, еще «романтику» приплел. Просто наедине когда будем — называй меня — майор, не ошибешься.

А месяца через два сказал:

— А теперь можешь называть меня подполковником.

Сказал и повел его в «четыре буквы» — в кафе «Арфа» напротив «Института шестьдесят восемь». Там, в «четырех буквах», была отгороженная стойка, где торговали водкой и вином. Потом в какой-то момент борьбы с алкоголизмом, водку отменили. Еще через короткое время прикрыли и коньяк. Остались только дорогие марочные сухие вина — «неэффективные», как выражался Начальник. Потом и вина исчезли, даже стойку снесли. Но вскоре стойка эта, с полной налитой продавщицей за ней, снова возникла, и снова появились марочные сухие вина, а за ними вина крепленые, а там и коньяк. И это повторялось, как отлив и прилив на море. Через определенное время менялись продавщицы, но все были как бы на одно лицо — как, например, Начальник с Воловым, — все круглые, налитые, краснощекие. И все говорили о своих предшественницах одно слово: «загремела». И когда произносили это слово,

слабая тень тревоги проступала на сразу побледневшем лице, но быстро сменялась привычной улыбочкой.

И все они с самого первого дня работы знали почему-то Начальника. И какой бы ни был период — час прибоа крепленых вин, дешевого ядовитого портвейна — «бормотухи», как он назывался, портвейна со вкусом оконной замазки, настоянной на сахарине, или час отбоа — то есть дорогих марочных вин, Начальнику наливали в стакан армянского коньяку, появлявшегося неизвестно откуда.

Тем, кто приходил с ним, — тоже наливали.

И если Бутов совал руку в карман, чтобы уплатить, Начальник крепко придерживал его за локоток, жестом, означающим: «не балуй, мол, иди в упряжке». Выпив, Начальник сразу уходил, а Бутов иногда оставался ненадолго — побеседовать с продавщицей. Те говорили, почему «загремела» предшественница:

— Всем же надо налить. Иной только тут хлебнет стаканчик — как вы, по-божески.

— Я за себя платить буду, — ответил Бутов.

— При начальничке-то? — спросила продавщица и рассмеялась.

— Ну, после занесу...

Продавщица только махнула рукой:

— Которым тут наливаем — это ничего. А ведь есть которым на дом приходится. И не простое вино — шампанское, коньяк «Юбилейный». И не бутылками — ящиками.

— Кто же это так? По какому праву?!

Продавщица смерила его недоверчивым взглядом, отвернулась и сказала:

— Чего это дурачками нам с вами прикидываться — и по нашей торговой линии, и по вашей...

— По какой это «нашей» линии?.. — спросил Бутов.

Продавщица сразу ушла. Сказала:

— Принимать товар.

И через час примерно — Бутова вызвали к Начальнику. И тот, когда они остались одни, спросил:

— Ну, делишки как?

И он — к слову пришлось, — рассказал о разговоре с продавщицей.

Начальник нахмурился:

— Клавка так... разъяснила?

— Да, Клавдия Алексеевна.

— А ты что ж, дозреваешь помаленьку, дозреваешь, — сказал Начальник с этой несколько подленькой улыбочкой. — Ну, иди, вкалывай!

И он ясно понял, что предал. Но и теперь не бежал из Института.

...А на другой день Клавы не оказалось в кафе, появилась другая, тоже полная, круглолицая, — Наталка. И он спросил ее:

— Куда Клавочка делась? Загремела, как все?

— Нет, тут похуже, — и звонко рассмеялась, закидывая голову так, что выпирала крепкая грудь и видно было, как бьются синие жилки на высокой полной шее.

И вдруг ему примерещилось, что Начальник не просто схож с Воловым, но он и есть сам Воловой, только фамилия почему-то другая. Что он как бы тот самый лейтенант, с которым Бутов ехал по автостраде от Зееловских высот и не свернул, не отозвался на вой, слышащийся и сейчас во сне.

И вспомнилось, что тот был не простым лейтенантом, а работником СМЕРШа. И, может быть, он потому и не приказал свернуть на этот отчаянный, призывный вой, что тот служил в таком отделе. Этих все опасались, с ними не спорил даже полковник, командир дивизии.

А через несколько дней Бутов сидел с Будкевичем и расслышал странное шуршание возле дверей; тогда он не вспомнил, что только начальник во всем «шестьдесят

восемь» ходит в мягких кавказских сапогах, которые были еще в моде, но уже из моды выходили. Расслышал шуршание и забыл.

И напрасно забыл, как оказалось. А Будкевич Игнатий Соломонович и вовсе не расслышал, потому что был несколько туг на ухо.

И о чем была беседа, не припомнилось. Но только было сказано Игнатием Соломоновичем:

— Я обитаю как раз напротив Спаса на Крови.

— А я наискосок от Покрова на Крови, — отозвался Бутов.

И Будкевич, совсем голосом Р., и с милой улыбкой того — такой печальной, — сказал:

— В названиях можно много найти прелюбопытного — семантика. — И продолжал: — Да, раньше были Спас на Крови, Покров на Крови, а мы что — Поколение на крови? Страна на крови.

И снова послышалось это едва слышное шуршание за дверями.

Игнатий Соломонович посидел некоторое время, поднялся и, сторбившись, — это он последнее время стал так горбиться, — ушел через боковую дверь в общую комнату, куда был переселен.

И почти сразу появилась секретарша Начальника. Красивая, только очень бледная, как бы всегда испуганная, и сказала:

— Начальник просит зайти.

А Начальник встретил его у самых дверей и, глядя, нет, именно высматривая что-то в лице Бутова, спросил:

— О чем это вы бодягу разводили в служебное время?

Бутов подумал, что недовольство Начальника происходит от неслужебных разговорчиков; только от них, которые он расслышал, проходя мимо в своих мягких кавказских сапогах. Вот тогда и это шуршание припомнилось.

Лицо у Начальника было обычное — спокойное, не злое, только всматривающееся в нечто внимательнее обычного.

Бутов ответил: разговора, собственно, никакого не было, так, две-три фразы.

— Какие именно фразы? — совсем строго спросил Начальник и, не дожидаясь ответа, сам, слово в слово повторил про «Спаса на Крови» и так далее.

На следующий день утром Начальник зашел в комнату, где сидел Бутов, и, обращаясь к Будкевичу, сказал:

— Так что — сдавайте дела!

— Когда? — испуганно спросил Игнатий Соломонович.

— Да вот сразу — нечего бодягу разводить.

Игнатий Соломонович взял лист бумаги, лежащий сверху на столе, и жалко так сказал:

— Как же сдавать, если они, если Александр Максимович текста не поймет?

И с листом бумаги пошел к двери, потом вернулся, положил его на стол, снова пошел к двери, каждый раз испуганно взглядывая на Начальника; маячил от стола к двери и обратно, не в силах открыть дверь и уйти.

А Начальник, наблюдая за маленьким Игнатием Соломоновичем, сказал Бутову свое излюбленное: «Не боги горшки обжигают». — Я когда в первый раз пришел, тоже показалось, что ни в зуб ногой. Потом успокоился: помощники всегда найдутся, только кликни. У нас с тобой, Александр Максимович, на вооружении метод, мы с тобой, — почему-то он перешел на «ты», — эдакое чувствуем за сто километров.

А Игнатий Соломонович стал разъяснять подполковнику, что сейчас в работе очень сложный текст — шумерская клинопись. А потом моляще спросил: может быть, мне остаться, я бы первое время помогал. Без зарплаты, конечно. Пристроился бы где-нибудь в уголке и помогал.

А Начальник грубо ответил:

— Иди, иди, бог подаст. Или прикажешь тебя взащей гнать?

Будкевич вышел, но сразу вернулся, и уж, кажется, нельзя было говорить более моляще и униженно, но он попросил еще гораздо более жалко:

— Может быть, позволили бы руководить хоть работой Степана Дерюгина? — Речь шла о том красивом молодом человеке, который забежал в комнатку в первый день, когда Бутов определился на работу в Институт, — потому что там древние языки и новый человек не сможет.

— Мы все смогли, — ответил Начальник, так похожий на Волового. — И все сможем, если в войну столько всякой дряни от нас драпало: накакали в штаны - и побежали. Так что иди, иди!

Бутов робко вмешался:

— Может быть, действительно...

А Начальник ответил:

— Сказано, «иди в упряжке». Не поймешь — хуже будет.

И Бутов снова видит Игнатия Соломоновича. Он подметает какой-то двор и что-то бормочет, все что-то бормочет.

А потом он видит в этом же мутном световом кругу щенка, которого когда-то подобрал на дворе. То есть сперва не щенка, а пустую собачью конуру. Потом снова видит конуру, но оттуда вылезает тощий облезлый пес — и скулит, скулит. Бутов вспоминает, что тогда донес щенка почти до дверей, а там испугался чего-то — неудовольствия Натальи Михайловны? Хотя, может быть, ей-то щенок бы понравился — все-таки живая душа. Но он испугался, бежит в тот проходной двор, где подобрал щенка, и швыряет его подальше. И бежит, бежит прочь; а щенок вскакивает на лапы и вслед. Тогда он швыряет щеночка уже далеко — изо всех сил швыряет, бежит не оглядыва-

ясь. И вдруг в это опаловое пепельное пятно втиснулся, влез как пес в конуру, тот маленький — Будкевич; он сразу его узнал. А там уже ждали — монтер, истопник и сторож. Будкевич дрожал, пока разливал «напиток». А выпив, сразу перестал дрожать и заговорил на певучем — арамейском, Бутов уже немного разобрался — языке. И эти, монтер со сторожем и истопник, слушали с уважением, кто-то даже сказал:

— Вот вкалывает!..

Игнатий Соломонович выпил еще, и еще — поллитровок было две — все говорил, говорил.

...А потом это воспоминание померкло, и опять вспоминается щенок. Он видит пустую конуру, а затем конуру и вылезавшего из нее пса. Видит и думает: «почему люди — все люди, и он тоже, когда еще был человеком, — так осторожны, когда делают или только собираются сделать добро, и почему они так, не оглядываясь, творят зло». О людях он думает во втором лице, и себя видит со стороны. Мерцают, мерцают видения, как тусклые огни. И он знает, что так будет вечно, именно в этом страшная вечность, которую мы предчувствуем — все равно, верующие или неверующие, — когда умираем; это о ней Шекспир сказал: «Кто нес бы бремя жизни, когда б не страх чего-то после смерти». Вечность! А видения какой-то почти невесомой тканью — даже не тканью, а паутиной — складываются на груди между ним и крышкой гроба; но расстояние между ним и крышкой гроба почему-то почти не уменьшается. Только чуть-чуть нарастает тяжесть. И он понимает: это и есть — вечные муки. А видения ложатся, как материя в текстильном магазине, когда ее перемеривают метром.

...А потом в мутном пятне, которое ближе, чем другие: стол, уставленный закусками и напитками, и за столом жена — нарядная, даже как бы повеселевшая, хотя

и в черном траурном платье. И она часто смеется, откидываясь полным гибким телом. Она пьяна — вот почему она смеется. И часто поворачивается к аспиранту Степану Дерюгину, единственному аспиранту, которого оставили у него на попечении, когда уволили на пенсию; из жалости оставили, так, чтобы перепадала десятка-другая из безлюдного фонда. И Костя сидит рядом с девушкой, лица которой мертвый почему-то разглядеть не может.

Отмечаются сороковины.

Жена сильным движением, не вяло, как он привык видеть, а упруго поворачивается к Дерюгину. Тяжелые груди у нее колышутся, как всегда, когда она по забывчивости, а часто и нарочно, «забывает» надеть бюстгальтер. Грудь колышутся под тонкой черной кофточкой. Тело просвечивает сквозь ткань. И сидит молчаливо, неподвижно *эта*. А потом Костя и его подружка исчезают куда-то. Он хорошо знает, что видит только тех, кто в это мгновение помнит о нем, хоть краешком сознания, другие сразу исчезают из глаз, что только воспоминания сильнее смерти, проникают через стену, которой смерть отгорожена от жизни. А ослабление и исчезание воспоминаний страшно и ничем не предотвратимо; это тоже входит в вечные муки — растворение в пустоте.

А жена его кладет руку на плечо аспиранту Степе Дерюгину, прижимается к нему и в тот же момент исчезает. И только *эта*, старенькая Варвара Борисовна, которую он обогнал на общем их пути к смерти, сидит, жуёт губами, протягивает руку к блюду с холодцом и сразу испуганно роняет вилку. Она одна помнит о нем.

— Значит, у вас никого не было и нет из близких, таких, которым вы дороги? — спрашивает Некто.

— Может быть, и так, — мысленно отвечает он и видит только *эту*, ну и человека в черном плаще на ржавом железном сундуке. Тот не знает о смерти Бутова. Горе пронизывает холодное мертвое сердце.

— Зачем же вам воскрешение? — спрашивает Некто.

...А потом видения разом исчезают. И Бутов слышит голос того, высокого с голубыми крыльями, теперь почему-то понимая каждое слово, произнесенное на прежде незнакомом певучем языке:

— Там решено: ты воскреснешь! Первый раз тебе, рожденному матерью, не дали прожить по-человечески. А сам ты не сумел. Постарайся быть иным, когда снова ступишь на землю, где можно так легко рассеивать злые семена и с таким трудом — добрые. Постарайся быть иным, иначе ты скоро вернешься в черноту, у которой нет дна. Тогда уж навечно.

— Воскреснет, значит? Такое решение! — взвизгивает Рыжий, голос которого Бутов сразу узнает. — Однако, поскольку речь идет не о душе, а, извините, душонке, душонке-тушенке, сказано — имею я право поставить одно условие, без выполнения которого воскрешение не произойдет? Сказано ведь!

— Справедливое условие, — поправляет Голубой.

— Куда ж справедливее. Пусть будет указано, что хоть один человек на земле ждет тебя, и не только ждет, а готов чем-то своим пожертвовать, чтобы Александр Максимович Бутов снова появился на земле. Хотя бы денежками — пожертвовать, поскольку людишки, как жуки, к деньгам тянутся. Назови человека, и если он завтра утром между девятью и десятью пожалует на мое Новое кладбище и сожжет на твоей могиле не много и не мало — двести рублей, ни на копейку меньше, не пожалеет ради тебя двух сотенных, тогда что ж, тогда — пусть исполнится!

— Будет так! — говорит Голубой.

19.

И теперь мне, Алексею Теплову, младшему научному сотруднику Химического Института в городе Менделеев-

ске, а прежде однополчанину и другу Александра Максимовича Бутова, остается только пояснить, в меру возможности, как была узнана мною и расшифрована, записана (работа, впрочем, еще далека от окончания) эта история, могущая в некоторых отрывках показаться необычной, даже — невероятной. Ну и одновременно оправдаться в неполноте, запутанности и отрывочности изложения.

Но каким образом оправдаться? Кто хочет, пусть довольствуется фактами, то есть тем, что мне как-то было продиктовано. Между прочим, в этом «как-то» — оно не может быть удовлетворительно разъяснено, на мой взгляд, — и заключается главная странность и неубедительность повествования.

Человек с более гибкой и молодой фантазией сам при сочинит недостающее. Дело его. Ну, а читатель с умом скептическим — ему остается самое легкое: после первых же бросившихся в глаза неясностей или нелепостей даже отложить рукопись в сторону. Я и сам на месте читателя так бы поступил.

Без малейшей жалости, даже с облегчением я забросил бы эти записки, когда б не въедливое такое, вновь и вновь возникающее болезненное чувство: «Другие как хотят, а ты так поступать не вправе!».

Почему?

— Ну, хотя бы потому, что неспроста все это «открылось» (более подходящего слова не могу подобрать) именно тебе. И потому, что Александр Максимович Бутов — главное действующее лицо и, как представляется мне, подлинный автор этих автобиографических заметок, хотя он и говорит о себе чаще в третьем лице, — он, А. М. Бутов, не случайный знакомец, а человек, сыгравший важную роль в собственной твоей судьбе.

...Мы познакомились летом 1942 года в большом селе Глухово, недалеко от Новосибирска; там формировалась

дивизия. Оба мы были зачислены в один батальон командирами рот; Александр Максимович, или, как я попросту его тогда именовал, Сашка, в ту пору ночами — дни были заняты под завязку — писал стихи: всякие там мечты про будущее.

Стихи эти тогда мне очень нравились, и вообще мы так дружили, что не только в батальоне, но во всем полку нас дразнили — «близняшками» или «двойняшками»; кстати, мы и внешне очень походили друг на друга, и даже в одну девчонку, санитарку Тосю, тайно были влюблены, хотя ни у кого из нас с ней ничего не было — даже не целовались. Да и она нас любила — только кого больше? Это уж одному Богу известно; даже не ей самой.

Я был уверен, что Сашка именно по праву своего таланта переживет войну и станет знаменитым поэтом. Как читателю известно, предчувствие мое относительно поэтической судьбы Бутова не оправдалось; во всяком случае пока. Да разве судьба признает «право таланта»? Не убивает ли она или принижает с особой даже пристрастностью людей выдающегося ума и дарования?

Осенью того же сорок второго года дивизию перебросили на Южный фронт. Через две недели при штурме высоты, именовавшейся Маяки, Бутов был тяжело ранен, эвакуирован в тыл и, хотя по слухам остался в живых, в нашу часть не вернулся.

Демобилизовавшись в сорок шестом, я попробовал его разыскать, но не преуспел в этом; в течение нескольких лет заходил в городскую читальню и внимательно просматривал поэтические разделы журналов. Сходные фамилии попадались, я всматривался в них с болью даже, а подписи «Александр Бутов» — не было и не было.

В конце концов я забросил бесполезные и огорчительные хождения.

А еще через пятнадцать или немногим больше лет

фронтовой сослуживец, с которым мы переписывались, хотя и крайне редко, сообщил, что «А. М. Бутов — музам предпочел Минерву. Кажется, не слишком преуспевает на научном поприще, да и ведет себя, по слухам, не совсем порядочно: женился на некоей бойкой бабенке, прижил сына Костю и успел обзавестись рогами».

Корреспондент мой жил по случайности в том же городе Т., что и Бутов, — «за три квартала».

Сказать по правде, письмо не просто огорчило меня, а вызвало острую, долго не проходившую боль. Суть была не в том, что А. М. «обзавелся рогами». Какое мне-то дело. И не в том даже, что ведет себя непорядочно. Как это понимать?! Да и как ни понимай, многое следовало списать на желчный характер автора письма.

То есть дело было и в этом, даже именно в этом, но суть заключалась в ином. В чем? Да просто в том, вероятно, что послевоенная жизнь в образе Бутова примяла, обломала не только его одного, а общие наши мечты. Ведь как думалось? Выпадет счастливый номерок, не пошлют на тебя похоронку, тогда уж непременно осуществится!

А вот не осуществилось...

«То, что было суждено тебе, но не пропето, свинцом оседает в сердце и принижает не только тебя, но и все твоё поколение», — сказал как-то Бутов.

Кстати, когда он говорил это — где и когда, не помню, — мимо проходил один штабной лейтенант — полный, массивный, с багровым затылком; «мясной человешишко» — определял его Александр Максимович; так тот, на ходу уловив одно слово «пропето», неприятно осклабился и передразнил: «пропето, провыто, пропито» — ну, и пошел дальше.

И еще, кажется, в тот же раз Бутов сказал: «Позади слишком много того, в чем необходимо или исповедоваться до самого тайного, или так: «смертию смерть поправ».

Может быть, сейчас монолог Александра Максимовича прозвучит излишне «красиво». Но вспоминая его, я ведь мысленно вижу двадцатилетнего пехотного офицера, а по виду — и совсем мальчишку, жизнь которого может прерваться каждый час, каждую минуту, хотя бы на пологом склоне этой проклятой высотки Маяки близ Славянска, прерваться после каждого: «Рота, за мной!»

И еще Александр Максимович говорил: «Смерть — пустота и ничего иного. Мертвому она и положена — пустота. А вот жить в пустоте действительно страшно. Но этого мы себе тогда уж никак не позволим».

«Тогда» — означало: после войны.

Подобное он говорил, если нападала на него — редко — стихия философствования. А вообще он был веселым, смелым, красивым — вот как на той маленькой карточке, подаренной мне им; висит она в рамочке над кроватью, не стареет, не взрослеет, только желтеть понемногу начала.

Иногда Бутов читал мне свои стихи, только что сочиненные; читал и в Глухове, в уютной теплой избе, и у Маяков в исхлестанной осенними ливнями неглубокой траншее, когда до зеленой ракеты, по которой «подготовиться к атаке» оставалось час или и того меньше. Мнением моим о стихах он не интересовался, во всяком случае — виду не показывал. Только однажды — не накануне ли тяжелого своего ранения? — спросил:

— Ну как?

Мне хотелось найти, как выражается Пушкин, важные слова. А получилась тут уж действительно красивость.

— Когда ты пришел, — сказал я, — было душно, тревожно — спят солдатики, согрелись в мокрых шинелях, для многих это последний сон. А теперь легче дышать. И видно далеко...

— Дальше Маяков? — с улыбкой спросил Бутов.

— До края земли, края жизни, и не только твоей и моей...

— Не миражи? Будущее, которое действительно будет?..

Я не успел ответить: в небо медленно и полого поднималась зеленая ракета. Чуть ли не над головой пролетели первые снаряды дивизионной артиллерии. Александр Максимович побежал к себе, а я поднял свою роту.

...Пожалуй, вот и все, что я хотел и могу сказать о том, кем был для меня — да и остался — Бутов.

...Как-то я вернулся домой в неудобную свою холостяцкую комнату около одиннадцати, после шести часов преферанса «по маленькой» и изрядной выпивки, с ужасным чувством бессмыслицы, а если пооткровеннее — подлости своей жизни, именно «пустоты» ее, как, должно быть, понимал это слово Сашка Бутов; взглянул на карточку его — и в памяти всплыли эти слова: «А вот жить в пустоте действительно страшно, но этого мы себе тогда не позволим».

А ведь «позволили», снова — в который раз — позволили, чтобы потом — в который раз — покаяться.

Ужасно захотелось вспомнить хоть одно Сашкино стихотворение, хоть строчку; может быть, от стихов чуть развиднелось бы в хмурой осенней ночи, с тяжестью именно свинцовой, опускавшейся на меня — вот-вот раздавит. Но ничего не припоминалось; подумалось — вернее бы сказать «понялось», — что никогда больше стихи эти и не припомнятся; ведь они писались для меня и моих друзей, какими мы были, а во мне с нынешними друзьями, какие мы есть, — существовать не могут.

Однажды Бутов сказал: «Слова и мысли воспринимаются, только если все уже предуготовлено, чтобы их вместить, — тоскует, ждет; а нет скворечника, скворцы летят дальше или падают от голода и истощения, умирают».

В каком-то журнале попались хорошие стихи, поразившие двумя строками: «И это все в меня запало И лишь потом во мне очнулось!» Но ведь «запало», посеялось во всех воевавших, а очнулось только в авторе стихотворения, ну и немногих, как он. А в других?.. В нас, может быть, и начало проклевываться, но сразу и уже навсегда заросло бурьяном.

Я распахнул окно — ветерком даже не повеяло. Темнота была такой плотной, что, казалось, ее можно рубить топором; только вот — зачем? Куда прорубаться?

Я вынул и положил на стол двести шестьдесят пять рублей, в мятых бумажках, оттопыривающих карман; двести сорок — неожиданно возвратил старый долг Чернов (его все у нас называли просто «Черный»), у которого я был в гостях, а двадцать пять рублей с копейками выиграны в преферанс. Механически пересчитывая этот свой случайный доходец, подумал, что день, по нашему обывательскому счету, вполне можно причислить к везучим. Но радости, даже самой малой, не ощутилось. Напротив: было чувство, что падаешь в пропасть, медленно, неотвратно соскальзываешь...

Разделся и лег; показалось холодновато — поднялся, чтобы закрыть окно, но сразу снова распахнул. Еще вставал попить воды, просто побродить в шлепанцах по тесному неуютю моего жилья; когда слышишь шаги, даже и свои собственные, — не так одиноко.

Часы на стене показывали ровно половину двенадцатого, я улегся окончательно, натянув одеяло до подбородка. И только закрылись глаза, повеяло ветерком, прошла тошнота, и многое как-то прояснилось.

...Тут приходится отметить странность, до сих пор мною не разгаданную: то ли все описанное в этой рукописи было, но можно предположить и так, что просто я крепко уснул, и все это привиделось в глубоком забытии.

Но тогда почему пачка мятых трехрублевок, пятирублевок и десяток — вот она на столе, — обуглилась и закоптилась с одной стороны?

И как, откуда появилась общая тетрадь в голубой клеенчатой обложке, где все страницы до последней покрыты наползающими одна на другую строками, написанными, несомненно, моей рукой, с моими, только мне понятными сокращениями, когда некоторые слова обозначены одной буквой или только мне понятным значком; я только начал на предыдущих страницах расшифровывать и перебеливать некоторые, наудачу взятые заметки из тетради — а так работы с ней хватит надолго.

...Итак, лишь только я закрыл глаза, повеяло прохладным ветерком с запахом прели, исчезли все следы празднично, пьяно и скучно проведенного вечера. Возникло, охватило меня сразу всего целиком — каждую клеточку, каждый нерв — ощущение сосредоточенной ясности; словно самое живое во мне поднялось из тайников души.

Я видел, несмотря на закрытые глаза, — это тоже странность, других я уже оговаривать не буду, — видел очень светлое, наполненное именно утренним светом голубое пространство, во всех направлениях пересекаемое ветвящимися потоками, как равнина пересекается ручьями и полноводными реками. Только потоки были не голубыми, серыми, синими, — словом, совсем не такими, какими бывают реки, — а прозрачно-розовыми. И по ним, подобно кораблям на реке, плыли одно за другим круглой и овальной формы тела красноватого цвета, почему-то вызывающие мысль о золотых рыбках или даже русалках.

Я попробовал было объяснить себе происхождение наблюдаемой картины — значит, я не спал?! — зажегся фонарь под окном? Выглянула луна? И вот свет фонаря, луны или просто лампы под потолком, проникает сквозь веки, очерчивая капилляры, а там движутся кровяные

тельца. Попробовал объяснить себе все так, когда понял, что сугубо логические рассуждения никакого отношения к происходящему не имеют, а тут происходит нечто совсем другое — логике даже враждебное.

Череда чего-то овального, круглого, причудливо изогнутого — не что иное, как течение поступков, мыслей, чувств, соединяющихся сейчас заново, не во временной своей последовательности, а по однородности — так что события детства, допустим, естественно сливаются с чем-то происходящим сейчас, накануне старости. И твои мысли и поступки сливаются с сущностью другого, очень близкого тебе человека, при этом обнажая себя.

Каждого человека, — я еще не знал.

Потом в прозрачном пространстве появилось — спустилось с неба или выплыло из глубины — нечто, похожее одновременно на птицу и на человека, только крылатого. Черт лица различить я не мог, видел только что голову, окруженную сиянием — тем же утренним, голубоватым.

Я вспомнил, что во многих мифологических древних рисунках повторяется «птицечеловек» — с крыльями и птичьей головой. Но это был не птицечеловек, а человек-птица, вообще «крылатый» — другого определения я подыскать не смог.

И лишь только Крылатый появился, мне стало известно — было совершенно тихо, не доносилось ни звука, так что сообщено все дальнейшее было мне, очевидно, не словами, — стало известно, что Александр Максимович умер сорок дней назад.

Это не потрясло меня, словно я был уже предупрежден о его кончине. Словно сама эта смерть не окончательная, что ли. Напротив, она пресекла его, Александра Максимовича, и почему-то и мое — неотвратимое угасание (скольжение в пропасть?), так что если он снова появится, то таким, как на моей карточке, как в Глухове, как в дни штурма

высотки Маяки, в ночи, когда он писал стихи.

Появится, чтобы пропеть непропетое, прожить истинную жизнь.

Еще мне было сообщено, что воскрешение произойдет, только если Бутов необходим хоть одному человеку на земле. И этот «один» докажет потребность в существовании Бутова, верность ему: придет, преодолев все могущие возникнуть препятствия, на Новое кладбище города Т., где Бутов жил и погребен, непременно до десяти часов завтрашнего утра и сожжет над могилой ровно двести рублей.

Вот и все.

Я открыл глаза, вскочил и с лихорадочной поспешностью стал одеваться. Часы и теперь показывали половину двенадцатого; по-видимому, то, что привиделось, не заняло нашего земного времени.

Почему-то — некстати — пришло в голову: какое это жалкое, хотя и чрезвычайно распространенное именно в наше время понятие — полуинтеллигент, полуинтеллигенция. И как дурно, что иные — даже умнейшие — путают это слово и это сословие с другим, близким, но противоположным первому — интеллигент, интеллигенция. Впрочем, конечно же, интеллигенция не сословие, а просто сочетание одиноких людей, рассеянных по свету, таких, как Р., о котором мне некогда часто рассказывал Бутов.

В том ли разница, что интеллигент знает языки, музыку, живопись, современную науку, что ему по-блоковски «внятно всё»? Конечно, и в этом, но во вторую очередь. А главное — что он имеет свою идею, направление движения, диктуемое этой идеей. И идет не со службы домой, не в гости — картишками перекинуться, а в одном своем направлении. И если на пути гильотина, виселица, выстрел в затылок, нищета, непризнание и враждебность окружающих — он не свернет. И если он исчезнет одним из перечисленных способов, тогда что ж? Свет, который

он излучал, вот это самое утреннее сияние успело осветить хоть одну душу — несмотря на все успехи современной светоизоляции; одну душу, чаще всего не больше, чем одну или две, — но разве этого мало?

И если так судить, я, записывающий это повествование — именно полуинтеллигент, а Александр Максимович напротив — интеллигент хотя бы в силу истинности своего дарования, во всяком случае — мог бы стать интеллигентом.

Сейчас, после смерти?

Да, именно сейчас, — в силу великих слов «смертию смерть поправ».

Тут надо оговориться, что путаница мыслей не мешала мне. Я оделся и умылся, позвонил на вокзал и узнал, что поезда на Т. есть в 0.15 и в четыре часа ночи. Постановил для себя непременно уехать в 0.15 — тогда исключены всякие случайности, а что они грозят мне, я уже сознавал. Не достану в Т. такси, доберусь хоть пешком до этого самого Нового кладбища. А уехать в 0.15 вполне возможно — до вокзала рукой подать.

По улице во всю недобрую силу гулял осенний ветер, разметывая опавшие листья, а в голове продолжалось то же путаное коловращение мыслей, по сути пустяковых даже.

Например, я спросил себя: «Ну, а если бы умер ты, нашелся бы хоть один, готовый пожертвовать ради тебя сторублевками? Для чего — чтобы не потерять партнера в преферанс? Один, X, — скажет себе, что все это сон, плод возбужденной фантазии, хотя и поймет в глубине души — нет, не сон; как понял, допустим, я. Другой, Y, которому врач недавно раздраженно заметил: «столько жиру, что невозможно прослушать сердце», — повернется на другой бок и с новыми силами захрапит, успев только успокоить себя: «Не я же умер, а до Алешки Теплова какое

мне дело». Ну а Z? Черт с ним, с «зетом», да и есть ли он?!

И я подумал — это уж из области более важного, — что в каком-то научно-популярном издании была статейка о «расширяющейся вселенной». Сущности ее я не понял, но показалось, что вот, когда протечет еще одна Вечность, звезды и планеты разбредутся так далеко, что они даже не будут видеть друг друга, если бы и было у них одухотворенное свойство «видеть». Над каждой звездой прострется ночное небо, «пустота» (все время мелькало в мыслях это обреченное бутовское слово).

И мы, люди, как бы предугадываем судьбу звезд; и нас разметывают, как ветер листья, — другие ветры: войны, революции, лагеря — всё, чему мы были даже не свидетелями, а причастниками.

Пустота, разъединенность, ненужность друг другу.

И если бы не связи матери с ребенком, любимого с любимой, тогда процесс окончательного разъединения быстро — не успеешь оглянуться — завершился бы; а так — что-то все же нет-нет да и встанет на пути ветров моего печального времени.

И опять же, пока опутывали меня эти отвлеченные соображения, я продолжал делать все, что требовалось. В ноль часов — был на вокзале. В 0.10 — купил билет, как сказала кассирша — последний, и выбежал на платформу. Поезд одноглазым циклопом приближался, и вот — остановился. Я бросился к хвостовому тринадцатому вагону, когда путь преградил некто в дубленке, шляпе пирожком и с рыжими кошачьими усами.

Он крепко охватил холодной и твердой, как железо, лапой — именно «лапой», так кажется точнее всего, — правую мою руку, в которой я зажал билет. Подняв круглое, красномясное лицо, мокрое от слез (глаза у него были закрыты, словно могли нечто преждевременно выдать), он скороговоркой проговорил:

— Матушка умирает — медикус специально звонил. Может, знали матушку? В миру, как прежде выражались, Евфросинья Мокевна?! А там, — он коротко и неопределенно взмахнул рукой, показывая не то вниз, не то вверх, — там другое дело. Если ночью явлюсь, может, поспею к ложу страдальцы. Хотя и будучи врагом суеверий, приму родительское напутствие. Поэтому и решил беспокоить именно вас, как человека с душой. Остальные, которые тут, давно душу заложили и перезаложили, остались с душонками.

Странное словцо его «душонка» походило на другое — «душно» — и вызывало физическое ощущение, что нечем дышать.

Бормоча свою невнятицу, рыжий в дубленке вырвал билет и с невероятной быстротой метнулся к поезду.

А может, я сам в каком-то вдруг овладевшем мною безволии, но вполне понимая, что поступаю неверно, даже так — предаю! — разжал ладонь с билетом?

Я побежал вслед за Рыжим, но не сразу; несколько секунд мною владело нечто вроде столбняка. Рыжий вскочил на заднюю площадку, стал рядом с кондуктором, державшим свой красный фонарь; поезд снова походил на циклопа с глазом цвета крови.

Неизвестно для чего я добежал до конца платформы и только тут остановился. Дышалось трудно — снова сник ветер. Вспомнилась строка из прочитанного некогда, очень давно, не знаю в каком именно произведении: «Моей, моей виной случилось все...»

Строка жужжала в мозгу огромной мухой. И больше для того, чтобы заглушить назойливое вбуравливающееся в мозг жужжание, я сказал самому себе:

— Мать умирает, ты должен был отдать билет, святое дело...

Сказал, отчетливо сознавая, что лгу; по другим по-

водам я много раз лгал себе и прежде. То есть, логически если — все правильно, и лицо в слезах — как не поверить!.. Ну, а если по-другому: именно не логически? Тогда одно только: «моей, моей виной случилось все...»

— Что же такого случилось?! Не удалось уехать в 0.15, уедешь в четыре — тоже вполне успеется, — продолжал я успокаивать себя.

— Ничего ты не успеешь, — глухо отозвался другой голос; двое спорили во мне — один оправдывался, другой обвинял.

Кругом было пусто. «Ни души», — сказал я сам себе, и вдруг насмешливо представилось, что душа — просто наполненная чем-то незримым оболочка, вроде детского воздушного шарика; и оно, незримое, в истинном своем чистейшем составе есть именно детскость, ничего иного. Кто-то или ты сам ненароком надавил на оболочку, чаще всего в сердцах и по вполне зримому поводу, и человеческого содержания стало меньше, потом — еще меньше, еще, еще; и вот уже в тебе одна оболочка, именно «душонка», по определению того, в дублинке; нечем дышать — душно.

И не то чтобы ты продал душу, как выражались прежде; просто — не уберег ее.

«Просто не уберег?» — так ли? Ведь каждый раз, когда «оболочка» понемножку, почти незаметно пустела, ты получал взамен некоторую сладость, покой, безопасность. Значит, вроде и не продал — и все же продал.

— Но у тебя-то душа сохранилась? — спросил я себя.

— Не знаю, — отозвался тот же глуховатый внутренний голос. — Если и сохранилась, то лишь отчасти.

Тут в системе доказательств «обвиняющего» главное заключалось в том, что утрата души, усыхание ее рассматривались как процесс естественный — «возрастные изменения», как сказал бы врач, — естественные и неизбежные.

Меня могло поразить, но, по правде сказать, поразило только ум, что душа воспринималась как бы посторонней человеку, на время только дарованной ему; может быть, именно не дарованной, а навязанной. И исчезающей по мере совершения тобой всяческого зла.

— Ведь есть на тебе зло — это как ни считай.

— А если обойти зло? — отозвался во мне защищающий. — Стороночкой, стороночкой, и вот уже ветвление корней окончилось, — свободная почва, на ней ты еще можешь посеять доброе, даже противное тому, чем жил прежде?!

— Зло, раз принятое тобой, никогда и нигде не оканчивается, — прозвучало отчетливо, как приговор. — И уже вступили в жизнь новые поколения. «Тяжело, когда жизнь прожита с одними, а оправдываться приходится перед другими», — это, кажется, слова Катона.

Лишь только произнесен был приговор, я подумал, что он — «обвиняющий» — ведь был во мне всегда, он часть меня. Что же он раньше не предостерег — в другой раз, другие разы, в самом начале?

И я уж совсем приготовился простить себя, амнистировать: мол, вся вина в этом «обвиняющем», в том, что знал и не предупредил. А Я сам, — что же такое это «Я»? Мнимость. Маленький человек, «винтик», как выражались не так давно.

И хоть этого нельзя не признать — не молчал голос совести, произносил временами укоряющее словцо, заставлял в холодном поту проснуться среди ночи: «Да что же это такое творится в мире, в тебе?!» Но все же я маленький человек. В этом оправдание!

— Не маленький; но ты и сейчас петляешь, вместо того, чтобы хоть оглянуться на то, что совершалось при тебе, в покое и тишине твоего молчания; на миллионы могил, на тех, кого уже не воскресишь. И какие там к черту могилы — рвы, ямы, в которых скелеты с бирками на ноге;

а на бирках номера от первого до какого же? Миллионного, двадцатимиллионного? Считай, считай; разве хватит жизни твоей, и твоих детей, и внуков, чтобы сосчитать! Маленький человечек, вот кто ты — человечек без совести.

— Пусть будет так. Не обижаюсь, напротив, двумя руками проголосую — но только какой же спрос с маленького человечка? Вот Бутов — он, может быть, другое дело, у него талант, а значит, и ответственность перед миром. А я...

Обвиняющий не ответил. Воцарилась глухая темнота, глухая тишина, духота, к которой мы так привыкли, пустота во мне и в окружающем пространстве.

В голове подняли мышиную возню другие мысли, вернее бы сказать, мыслишки. Что вот здорово мы с Черновым посадили «без трех» на пиках наших преферансных партнеров; играли, в общем-то, не совсем корректно, но победителей не судят; и очень с раскладом карт повезло. И хорошо мы с тем же Черновым составили вчера докладную. Конечно, не без липы, ну и пусть, — Начальник, даже если хитринку угадает, очки снимет, чтобы не видеть. По нынешнему счету хитринка что?! Благо даже...

Я уже спал, каким-то манером переместившись с платформы в теплую, надышанную и прокуренную зальцу станции и устроившись на вытертой до блеска скамейке.

20.

...И сонные мысли перенесли меня в тот вечер, в ту ночь... Я сидел, как почти всегда после службы, у Чернова. Играли. И только карта начала идти, часов вероятно в десять, зазвонил телефон. Чернов взял трубку и сразу же передал мне:

— Какая-то баба зовет!

Звонила Тося. Вот уж чего никак нельзя было ожидать

после двадцатилетней разлуки, когда ни письма и никакой иной весточки. Я сразу узнал ее совершенно неизменившийся голос, само звучание которого некогда делало меня счастливым. Просто так счастливым, а совсем не потому, что нечто обещало. Ведь ничего такого между нами не было. Хотя вообще-то о ней говорили плохо. Не о службе ее — что она была поистине бесстрашной санитаркой, признавали все, да и как не признавать, — а в бытовом плане. Говорили почти презрительно. Но какое было дело мне, что о ней говорили тогда — в войну, в молодость, в другую эпоху жизни.

Никто в батальоне не верил, что мы с ней даже ни разу не целовались: «С Тоськой-то и чтобы платонически, — применялись гораздо более грубые слова, — брешешь!»

Она позвонила, и сразу я был извлечен из привычного уклада, повторяющегося изо дня в день столько послевоенных лет, и перенесен в другую сферу, в войну. Не в кровавую ее стихию, а ту, «у смерти на краю», которая все меняла, всему придавала значимость последнего дня, последнего шага на земле, последнего из всего сужденного — и тем открывала нечто, чего ты и сам в себе не подозревал, что могло в обычных условиях так и остаться неведомым до самой старости.

—... Какими судьбами? — как-то растерянно, не находя нужных слов, спросил я.

— Проездом, с поезда на поезд.

— А как ты узнала, где я? И даже номер телефона?

— Захотела и узнала. «Я все могу», — или забыл?..

Это «Я все могу», или нет, с той же интонацией, но иначе — «тебе все можно», — она сказала один только раз, кажется.

И еще сказала тогда, на фронте: «Все твое. Ничего от тебя не уйдет. Только, пожалуйста, не надо, чтобы сейчас, чтобы так...»

— Как с другими — не надо? — грубо спросил я, хотя подсознательно принимал все ее поведение и почему-то не спорил с ним. Понимал весь ее «замысел жизни», как сказал бы Сашка Бутов. Понимал и покорно ждал какого-то бесконечного счастья, которое казалось уже близким... Нет — что близко и что далеко, этого я с нею никогда не знал.

...И в тот вечер, в ту ночь, когда я так, вдруг, услышал ее голос, даже чуть раньше, когда телефон донес короткий ее, отчаянный какой-то вдох перед словами, во мне снова очнулось ожидание счастья.

— Ты надолго? — спросил я.

— До четырех часов, до поезда...

— Я тебя не отпущу! — сказал я, не принимая в расчет, что к каждому моему слову прислушивается злоязычный и вообще весь скверненький Чернов вместе с другими карточными дружками.

— Иначе нельзя! — ответила она после такого же короткого отчаянного вдоха, в течение которого в ней скрытно все решалось — будто вдыхала она не один воздух, а что-то еще. «Что же? Дух святой». Может, и «дух святой» — к ней он, должно быть, снисходил; или поднимался?

Я не стал спорить с Тосей. Всегда я был убежден в ее высшем по сравнению с моим праве; против него никогда не было у меня оружия, да я и не хотел бы его иметь.

— Я тебя жду у памятника! — Памятник у нас в городке один — Менделееву.

— Буду через десять минут! — ответил я, накинул на плечи болонью и не прощаясь бросился к дверям.

В передней до меня донесся визгливый какой-то и оглушительный голос Чернова: «Смертельный номер. Лешка-гад идет решать половую проблему. На плаще или под плащом». Это под хохот дружков.

Надо бы вернуться и двинуть Чернову по вывеске. Но разве есть время на драки? Вообще уже много раз хотелось, даже было необходимо посчитаться с Черновым, но всегда он как-то выскользнул, а через день-другой все снова собирались у него — пили водку и играли в карты.

...Я был уже на улице. Накрапывал дождик, царила прямо-таки чернильная темнота, только чуть разведенная белесоватым светом, выкрадывающимся сквозь задвинутые шторы некоторых — немногих — бодрствующих еще окон.

Городок наш маленький: круг новостроек с километр в поперечнике с асфальтовыми мостовыми и тротуарами, а кругом далеко раскинулись столетние, вросшие в землю хибарки. В кругу — мой Химический Институт, экспериментальный завод, ресторан, кино, два десятка новеньких десятиэтажных зданий; остальные — неотличимые бело-серые пятиэтажные дома, в одном из которых живу я. Вдоль тротуаров фонари с лампами дневного света, но они не включены. Поселение наше из совсем молодых, даже статус города присвоен ему только в нынешнем году.

Вблизи вокзала сквер со скамейками и единственной нашей достопримечательностью — гранитным памятником Менделееву.

Я вбежал в скверик и сразу не увидел, а почувствовал Тоську; она вырвалась из темноты, взяла меня под руку, и мы пошли рядом — сквером, а потом улицей. Минуты две шли молча, потом она коротко вздохнула, словно ахнула, и сказала:

— Вот и угрелась!

Разглядеть ее лицо в такой темноте было невозможно, но по звуку голоса угадывалось, что она тихонько смеется.

— Рада? — спросил я.

— Много ли бабе надо...

— Замужем?

— Нет.

— Ребенок есть?

— От сестрички трое осталось — я с ними была. А теперь замуж повыходили.

Может быть, мы были даже рады, что лиц друг друга не видим; темнота покрывала нас обоих ласково, даря прошлое и молодость.

Когда-то Сашка Бутов говорил: «Жизнь, как река: несет тебя течение, а к хорошему или дурному, не твоего ума дело; непознаваемо. Но бывает одно или несколько мгновений, своротов, когда все зависит только от тебя; не ошибись».

Тося заметно припадала на левую ногу.

— Что это ты хромаешь? — спросил я.

— Каждой хочется покрасивше быть — вот и надела лаковые туфельки, а они, проклятые, жмут.

— Зайдем ко мне — вот где желтая лампочка над подъездом. Я один живу.

— Нет, нет! — быстро и как бы испуганно отозвалась она.

Я и сам понимал, что сказал — так сказалось — совсем не то и не так: уж очень простенький смысл мог угадываться под моими словами. Надо было — и именно в ту секунду, секунды ведь не повторяются — надо было сказать Тосе: «Я тебя люблю! Будем вместе до смерти!» А вырвалось другое. Кто знает — почему так...

Вот и пропустил свой сворот — может быть, самый главный из всех сужденных.

Тося отпустила было мою руку, потом снова взяла, сказала:

— Идем, идем! Надо еще столько всякого вспомнить!

Мы шли под руку, но она все время отстранялась, на миллиметр какой-то, только чтобы я не касался ее тела; ветер, ветер со свистом прорывался между нами; ветер времени? ветер войны?

— Александр Максимович как? — спросила она.

— Я его с самых Маяков не видел.

— А там мне все казалось, что вы как одно, — задумчиво протянула она.

— И мне так казалось, да вот...

— Я ему даже как-то сказала, что могла только тебе.

Вырвалось!

— Что?

— Неважно... — И сразу. — О Косте Васильеве слышал что-нибудь?

— Погиб.

— Погиб, — глухо повторила она.

— А я все вспоминаю, как под Дунаевкой ты меня тащила из боя на шинели.

— Вы же без сознания были, товарищ лейтенант!

Она ко мне обращалась то на «вы» — «товарищ лейтенант», то на «ты» — «Лешка», как бы сближая нынешнюю ночь с общим нашим прошедшим.

— Может, и без сознания, а помню!

— Вы про меня это, а я про вас помню всё, товарищ лейтенант, — опять со своим отчаянным коротким вздохом сказала она. Помолчала и спросила: — А Светик Лазарев?

— Погиб.

В темноте мы проходили сквозь строй теней, говорили шепотом, будто громкие голоса могли потревожить ушедших.

— Сашок Рыбкин? — спрашивала она.

— Погиб.

— Погиб, — эхом повторила она.

Мне вспомнились стихи Бутова, не слова, а только смысл стихотворения: «Каждому поколению, которому суждено было пережить эпоху крови, должна быть дарована эпоха света. И свет не померкнет, пока не высветит

всех умерших, подарит им единственно возможное бессмертие — бессмертие памяти, осветит все до одной могилы; одну за другой, одну за другой».

— Ленька Полетаев?

— Погиб.

Мы кружили по городу. Вспоминали чаще безмолвно, но так, будто угадывали, видели воспоминания один другого, присутствовали в них. А иногда перебрасывались несколькими фразами.

Я опять предложил, но уже не грубо:

— Тебе же трудно ходить. Лучше посидим! Не хочешь у меня — так на скамье в сквере, на ступеньках лестницы?!

— Нет, нет, — давай нагуляемся вволю и наговоримся. Хорошо! Да? Когда еще выпадет.

— Хорошо, — согласился я. Спорить с ней не было у меня права: она всегда была выше меня.

Вспомнились слова профессора Р., учителя Бутова, которого Сашка очень почитал. Еще до фронта, в Глухове, он прочитал их мне из своей записной книжки. Речь шла о сути женского и мужского начала в жизни: «Первое — воплощается в вечности. Второе — временное; недаром мудрые пчелы изгоняют трутней из гнезда — исполнили свое предназначение и подышайте! Первое управляется одной природой, делится любовью, рожденьями детей. Второе — дробится на — иногда в дни, немногие месяцы, — периоды личной карьеры, изменчивой политической моды, меняя, если придется, на повороте даже свой знак с «плюса» на «минус». Первое — в вечности. И благодаря женскому началу — в каждом поколении отражается череда всех других, от человека, впервые рожденного на Земле, до последнего человека, который когда-то погибнет и оставит ее сиротски безлюдной; а там пески, и лава, и вода быстро смывают следы человеческого бытия.

В женском начале — нить, соединяющая все времена

человечества. Женское начало — от Бога, мужское в суетном стремлении все время создавать нечто. Зачем? Чтобы выдвинуться из толпы? За счет других? Какая разница — не ты отодвинешь плечом, другой будет действовать нагайкой, пистолетом, пулеметом. Быть над толпой, выше всех, но не в нравственном человеческом смысле, а во власти, карьере.

Смысл первого — в самоотвержении, дарении себя, женщина отдается; второго — в самоутверждении. Первого — в вечности; второго в точном соответствии мгновению.

Мы ходили с Тосей час за часом, не чувствуя усталости. Молчали или говорили все о том же — о войне; и когда молчали — вместе вспоминали.

А потом остановились на вокзальной площади. Тося отошла на несколько шагов, шумно, с отчаянным усилием набрала воздух в грудь, словно ей или нам обоим предстояло опуститься под землю, под воду — в неживое, словом. Надо — и тут уж ничего не поделаешь. Сказала одно только слово: «Прощай!»; тогда я еще не понимал, почему и как родилось это ее решение.

Она медленно уходила всё дальше и дальше. Сказала, уже невидимая, а лишь чуть угадываемая в темноте:

— Помни — я твоя! Я всегда думала и думаю только о тебе. Живу только оттого, что ты есть. Но так уж случилось. Ничего уж не поделаешь.

С этими словами она совсем исчезла. Я не стал почему-то догонять ее, когда еще можно было бы. Вокзальные часы показывали без десяти четыре. Без десяти минут — окончательное, как смертное, расставание. Стоял, словно прирос к земле. Стоял, со всех сторон сжатый темнотой, сжатый видениями войны.

Может быть, они — видения — тоже не понимали, зачем это Тося вызвала их из небытия, если сразу исчезла. Иногда видения вглядывались в меня, в самую мою

сердцевину и безмолвно спрашивали: «Ты ведь тоже был в небытии, в этой черновской черноте, и тебя она позвала первым; зачем было звать на немногие часы и минуты?» Они говорили, и я чувствовал на щеке холодное дыхание прежних друзей.

— Зачем она позвала нас? Чтобы спасти! Ну, конечно, — спасти от пустоты.

У меня кружилась голова. Вдруг я подумал: так ведь через наш городок проходит только одна железнодорожная линия, какая там пересадка. Тося не могла случайно оказаться тут. Приехала дневным двенадцатичасовым, должно быть, и дожидалась темноты. Зачем?

— Чтобы между нами не было наслоенного годами, не было между нами времени?

— Чтобы встретиться, как тогда встречались?

— Чтобы сказать мне и услышать от меня то, что мы говорили тогда?

— Чтобы только прикоснуться к бывшему? Чтобы навеки проститься со мной?

— А, может быть, чтобы навеки остаться?

Приехала, чтобы навеки остаться, а вот я не понял.

Побежал на станцию. Поздно — поезд уже отошел, на платформе было пусто, далеко виднелись удаляющиеся сигнальные огни.

21.

С этими воспоминаниями я и проснулся на жесткой вокзальной скамье. В вещие мгновения пробуждения, когда ты заново вступаешь в мир, словно бы не изношенный, не «б/у», как выражались армейские интенданты, — подумалось, что две такие несходные, но краеугольные формулы человеческого: «блаженны нищие духом», как сказано в Нагорной проповеди, и — «устаи младенца глаголет

истина» — объединены общим смыслом. Блаженны те, у кого нет раздвоения между душевным порывом и деловым умом; в ком просто нет этого тысячи раз предававшего «делового ума». Которые живут там, где соединяется старчески бескорыстное последнее познание мира — чего желать для себя старику, — с бескорыстием идущих прямо из природы человека мечтаний детства; сказано: «устами младенца».

Они будто летят друг к другу — мечты детства и исповедь старости. И наше поколение — казалось бы, все исчерпавшее, все потерявшее, запутавшееся, обескровленное непосильными муками — все-таки должно суметь из сегодня, из старости послать свою птицу сизоворонку навстречу поколению, угадывающему свою судьбу.

Тогда-то вновь родится Синяя птица. А без нее — как жить? И в этом смысл на первый взгляд слишком красивых слов Бутова «допеть недопетое», к слишком многому обязывающих. (И тут, и выше я привожу по большей части мысли не свои, а Бутова; клочковато, неясно, как они запомнились.)

Слова Бутова относятся не только к нему самому, а ко всем, кто может сказать про себя: «И это все в меня запало и лишь потом во мне очнулось»; у большинства ненадолго только очнулось. Когда запало? На фронте, в детстве, в лагере? Какая разница. То есть это относится и ко всем настоящим поэтам (значит, и к Бутову!). В поэзии, как в сказке, детское, первоначальное, соки земли соединяются со всезнанием опыта, дарованного человеку, горького или светлого, соединяется на полпути бесстрашного их полета друг к другу; у детства — первого полета, у старости — последнего; полета пусть даже через лжи, предательства, измены. «Блаженны добровольно нищие»; нет у них и не может быть корысти, того, что разменивается, обменивается. Блаженны Поэты. Блажен сказавший: «И пусть у гробово-

го входа молодая будет жизнь играть».

...Я подошел к кассе.

— Поезд опаздывает на сорок минут, — со странной неприязнью сказала кассирша.

«Во всем, во всем виновен ты», — явственно послышалось в тишине станционного зальца. Я ходил из угла в угол, попеременно говоря себе: «Можно еще успеть» и «Нет, поздно — все потеряно».

В Т. на вокзальной площади у стоянки такси вытянулась длинная очередь — человек пятьдесят или шестьдесят. Было 9 часов. Солнце едва выплывало и снова тонуло в покрывале облаков, кое-где сквозивших синью. Из переулка медленно выполз пустой самосвал. Я вскочил на подножку шоферской кабинки и крикнул водителю:

— До Нового кладбища довезешь?

Водитель сперва ухмыльнулся — пожалуй, и не выдумаешь нелепее: самосвалом на кладбище?! Потом оглядел длиннющую очередь на такси:

— Красенькую не пожалеешь?

Я сунул ему десятку.

Контора кладбища помещалась в дощатом бараке, покрашенном по штукатурке в серый, казавшийся сейчас почти черным цвет. Ее перегораживал деревянный барьер. Все тут было погружено в сумерки, только за барьером у правой стенки барака горела единственная настольная лампа, освещающая бледное, с блеклыми голубыми глазами, худенькое, почти детское личико, обрамленное золотистыми косами; на столике перед девушкой лежали толстые конторские книги. Все остальное продолговатое помещение было пусто; полусвет скупо цедился сквозь запотевшие окошки. Я подбежал к барьеру. Девушка подняла на меня глаза, вначале показавшиеся боязливыми, испуганными, а потом принявшие выражение жалости.

— Будьте добры, скажите, пожалуйста: где похоронен

Бутов Александр Максимович? — спросил я. — Только скорее, скорее... Это, видите ли, мой фронтовой друг. Он ждет! Он надеется на меня! Так что...

Я говорил задыхаясь, потому что от шоссе, где остановился самосвал, до кладбищенской конторы — то есть шагов двести — бежал по топкой грязи; она угрожающе и жадно хлюпала под ногами; представлялось, что, если остановишься хоть на мгновение, грязь поглотит тебя целиком, с головой — и все, и конец.

...И пока я говорил все это насчет Бутова, вероятно, казавшееся девушке, не знающей обстоятельств дела, сбивчивым, неясным — как это «мертвый ждет», «мертвый надеется на меня»? — в уме вертелось и вовсе нелепое, что между словом «будто», которое то и дело возникает в этих заметках, и фамилией Бутов — разительное сходство.

А если оно — сходство — не случайно? Заключен в нем смысл, намек, указание, что в действительности Бутов не существовал, был только будто бы?!

Как же так «не существовал», если Глухово, Маяки, стихи?

«А ты припомни хоть одну строчку стихов! Припомни лицо Бутова. Не можешь ведь!»

Снова два голоса спорили во мне, скоморошествовали, доводя чуть ли не до невменяемости.

«А если именно стихи, даже больше всего иного, только «будто бы»?»

Девушка с золотистыми косами положила между тем на барьер толстую конторскую книгу и стала листать ее, повторяя:

— Ничего, ничего! Все окончится хорошо, только потерпите немного.

Не так ли причитала Тося, вытаскивая меня, раненного осколком снаряда в брюхо, на шинели из-под огня! И вообще было в этой девушке нечто сходное с Тосей; в этом ее

обреченном каком-то и полном бесконечной жалости выражении лица.

— «Абрамов», — вслух читала кладбищенская девушка... —
А вот и Бутов, участок номер...

Она не успела договорить; она просто-напросто исчезла (куда уж проще, кто в наших поколениях усомнится в естественности исчезновений?!) Там, за барьером, где только что она стояла, теперь утвердился ночной мой «знакомец» — тот, в дубленке. Склонившись над развернутой конторской книгой, так что плотная тень затемняла белые страницы, делала строки почти неразличимо размывчивыми, он быстро-быстро отвратительной этой сбивчивой скороговоркой бормотал:

— Абрамов есть — признаю. И Вьюнков имеется. А Бутов где? Сами убедитесь!

Я изо всех сил вглядывался в конторскую книгу и теперь увидел, что между страницами — неровный краешек вырванного листа. А вот и лист — скомканный, будто жеванный, валяется на полу.

А тот, в дубленке, тем временем ухватив меня своими железными руками за шею, пригибал к кладбищенской книге. Будто намеревался — если только я не найду, и притом сейчас же, какую-то живую силу в себе или постороннюю защиту (даже если такая защита есть и лишь запаздывает), — будто хотел вдавить меня, впечатать в страницы книги на веки вечные, вшить в нее, как вшивают бумаги скоросшивателем.

Тогда что же? Конец!

— Да вы просто наглый мошенник, — собрав все силы и вырвавшись, наконец, крикнул я.

— Как то есть «мошенник»? В каких смыслах прикажете понимать?

— Именно наглый мошенник! Вор, вот вы кто. Наплели три коробка, будто матушка умирает, выхватили билет

и ищи ветра в поле.

— Как же возможно, чтобы матушка Евфросиния Мокеевна кончались, если это ей совсем даже не положено?! Что в другую сферу удалились — верно! Так вернется ведь. И как возможно, чтобы «выхватить билет»; вы, если не ошибаюсь, со станции Менделеево, по научной части, а я безвыездно тут, по похоронной части. Какое же могло быть между нами общение, а тем более в насильственном смысле! Кладбище новое, даже из самого названия следует; за всем присмотри, «хозяйский глазок — смотрок». Душеньки только еще прибывают. Иные своей волей, а иным приходится дорожку показывать, за ручку вести да еще, извините, в задок подталкивать; не грубо, со всей вежливостью, а приходится. И на шоссе щит. Не изволили заметить? Жаль! «Добро пожаловать» — вот какой щиток.

Барак был пуст, но со всех сторон слышалось — глухо, однотонно: «Да, да, да...» Как эхо, но это не было эхом; барак был пуст и одновременно битком набит — точнее разъяснить не могу. И я вдруг понял, что важнее всего вырваться из барака. Тем более что время ведь движется. И Бутов меня ждет.

(В какое-то мгновение казалось, что я и Бутов — одно, а в иное — что противоположные даже. И вместе с этим я понял, что решается судьба не только Александра Бутова, но и моя. И для решения этой судьбы — этих судеб? — остались считанные минуты и секунды; а там кончится одна вечность земной жизни и начнется другая, и ничего уж не переделаешь; сейчас только узкая щель между вечностями.)

Я побежал к двери барака. В дубленке прыгнул, пролетел над головой и очутился у двери прежде меня. Попробовал оттолкнуть его — не смог.

— Нет уж, — говорил он, заслоня дверной проем, — раньше извольте объясниться, а сейчас не пуцу. И всё!

Никто моего решения отменить не имеет прав и не может!

Только он сказал: «никто моего решения отменить не имеет прав», что-то — синее, стремительное, если это ветер, то ужасной ураганной силы — смерч, — легко отбросил того, в дубленке, на середину барака, поднял его и закрутил, вращая как запущенный волчок. Потом смерч (будем уж называть эту силу так) прижал его к стене. В дубленке царапал штукатурку заскорузлыми ногтями — оставались следы, белые царапины на темно-сером — и делал страшные усилия, чтобы оторваться, отклеиться от стены. Лицо его налилось кровью — бурой, почти черной, — редкими желтыми зубами он прикусил губу. Лицо искажали ненависть и страх.

Он был, как муха на клейкой бумаге.

Удивляться можно было и тому, что смерч вертел, а теперь прижал к стене его одного. А я не ощущал даже малейшего ветерка.

И бумажки на столе девушки с золотыми волосами — она снова появилась — были недвижимы, и вырванная страница снова сама собой вклеилась в кладбищенскую книгу.

— Участок Бутова — номер двести девяносто пять, тут недалеко — прямо шагах в двухстах от дверей, рядом с черным крестом на гранитном постаменте.

Когда, говоря это, она вскинула голову и взглянула на меня, в глазах ее была не только мольба о помощи, но и странное такое строгое напоминание, что я обязан ей помочь.

(Почему — обязан? Может быть, в силу удивительного ее сходства с Тосей, столько раз спасавшей мне жизнь?.. Как же я за всю ту последнюю ночь перед расставанием навсегда (неужели — навсегда?!), когда мы, словно бездомные бродяги скитались по пустому, будто бы погибшему, залитому темнотой, как лавой, засыпанному душным мраком, как песками, городку, не сказал Тосе важнейших

слов? Они ведь все могли изменить (могли?). И рядом с этой мыслью повторялось: «Во всем, во всем виновен ты». Может быть, надо было хоть теперь сказать ей, снова низко и покорно склонившейся над бумагами, — но ведь это совсем другая девушка, а не Тося. Все равно — надо было сказать: «Я тебя люблю больше жизни. Я знаю, что обязан тебе всем!»)

А тот, прижатый смерчем к стенке барака, задыхаясь, с судорожной гримасой пытаюсь втянуть в себя хоть толику этого синего воздуха (воздуха?), с бешеной, непостижимой скоростью пронесившегося мимо, все бормотал и бормотал шепелявой, невнятной скороговорочкой:

— Однако по какому праву! Тут — душонки, и именно я над ними поставлен, никто другой. Так сказано! Я и мои братья. Над душонками, у которых одна оболочка. Было содержание, хоть мизерное; было да сплыло.

И из пустого, но одновременно переполненного барака глухо доносилось: «Да, да, да!»

Впрочем, все это слышалось уже со стороны, издалека. Я был уже вне барака, под открытым небом. За несколько минут, проведенных в помещении, погода переменилась. Прояснило.

В синеве, открывшейся глазу, недалеко виднелся большой черный крест, поднимающийся на тоже черном — мраморном или из полированного гранита — надгробье; единственный на все кладбище; а так все земляные холмики, размытые осенними ливнями, деревянные красные звезды, камни с надписями.

Почти рядом с крестом, шагах в десяти, не больше, касаясь земли, вырастая из нее, недвижно повис клочок туманца. Он выделялся своей плотностью, серой непрозрачностью, недвижностью, непостижимой оттого, что дул сильный низовой ветер; в лужах, покрывавших чуть ли не все кладбище, в воде, затопившей его до дальнего до-

щатого забора.

Я побежал к нему, к этому скоплению туманца, теперь почему-то вполне уверенный, что именно там участок номер двести девяносто пять, где обретается и ждет меня Александр Максимович Бутов.

Опять это: «мертвый — ждет»? А что мы, живые, знаем о мертвых? И кто из нас действительно жив и кто — может быть, и я в их числе — только до срока притворяется таковым, а сам уже давно перешагнул границу? Речь идет о жизни настоящей.

Я бежал изо всех сил для того, чтобы поспеть выполнить то, продиктованное мне синим существом с крыльями в ночном видении. Достигнув границ участка, достал из кармана пачку трехрублевков, пятирублевков и десяток; руки двигались медленно, при каждом движении ощущалась вязкость теперь вплотную окружающего меня туманца. Трудно было дышать — нечем. Глотнешь воздуха и всего тебя изнутри пронизывает ледяной холод. Руки мелко дрожали и не слушались, когда я, держа в правой руке двести рублей, левой нащаривал спички в карманах; они оказались влажными и склизкими, как мелкие рыбешки, и выскользывали из рук, не вспыхивая. Наконец, одна зажглась.

Далеко бил, отсчитывая кладбищенское время, колокол. Механически считая удары — раз... два... три... — поднес зажженную спичку к пачечке денег; она не вспыхнула, а только стала тлеть, чуть обугливаясь с краю. С каждым ударом колокола клок тумана оформлялся в фигуру, которую трудно описать словами, но напоминавшую глубоко задумавшегося человека. Четыре... пять... шесть... Наконец, бумажки вспыхнули — ярко и все разом. Семь... восемь... девять... Туман перестал уплотняться. Десять... последний раз пробил колокол, и пачечка сразу погасла, словно кто-то задул огонь.

Я не удивился. С самого начала я предчувствовал, что все так и окончится; впрочем, в последнем я ошибся — «всё» не окончилось. То есть, одно «всё» действительно завершилось последним, десятым ударом колокола, а другое — как оказалось — только надвинулось. Теперь спички зажигались легко, но бумажки, к которым я их подносил, даже не начинали тлеть.

Из-за спины я услышал:

— Это поскольку все тут до одной — исключительно душонки и ничего другого, то, следственно, это моя вотчина и никого другого. И нечего на мою вотчину дерзать.

Еще не подняв глаз на говорившего, я понял, кто это. Тот — в дубленке. Он говорил — как бы поточнее выразиться — ну да, именно мелко, дробно так.

Бывает человек полужнакомый, а то и просто случайный встречный, но ощущения старого какого-то, ненужного, гадкого даже встречаия — есть; такой посторонний (потусторонний) — остановит тебя, схватит за пуговицу и говорит, дыша прямо в лицо и при каждом слове орошая брызгами слюны, — так что и не думается, как бы улизнуть и поскорее вытереться платком; да нет — непременно вымыться, и не раз, и с мылом... Но и когда вымоешься наконец, ощущение даже не просто нечистоты, а заплеванности — остается. И оно не только на коже, а и внутри. И оно не проходит и не пройдет. И в этом ощущении растворяются, бесследно исчезают слова, которыми «обрызгал» тебя случайный встречный (нет, именно не случайный!). Исчезает смысл слов, который был до крайности неприятный, сорный.

И ты перестаешь улыбаться, чуждаешься всех, кто раньше был близок, все время пытаешься (и уж до конца жизни будешь пытаться!) заставить слова всплыть на поверхность, вырвать их, как вырывают больной зуб.

Но они не поддаются, они принадлежат не тебе.

Наконец, я все же заставил себя поднять глаза и, конечно, сразу узнал того в дубленке; линии усадистой плотной фигуры были размыты, но все-таки рисовались достаточно отчетливо, чтобы разглядеть нагловатую улыбку на круглом красном, мясном лице.

Улыбке, кстати сказать, нельзя было не поразиться после того, как — я ведь сам своими глазами видел — его крутил и крутил тот странный синий смерч, чтобы наконец прижать к черно-серой стене барака, почти вдавить в нее; лицо его тогда искажала гримаса ужаса, оно мертвенно побледнело, потом налилось черной кровью, покрылось гнилой зеленоватой плесенью; и он, широко раскрыв рот, ловил, но не мог поймать воздух, со свистом проносящийся мимо; не мог поймать и задышался. Да и было ли это синее воздухом?

— Бывает, бывает, — частил он, отвечая на невысказанные мои мысли. — Секунду — так, а в другую — эдак, а потом, по истечении сроков — снова. Такая службишка. Да мы с вами, когда получше познакомимся — сами поймете. А ознакомиться — чему быть, того не миновать. Сейчас еще рановато пускаться в откровенности? Или как? Ничего, ничего — куда нам с тобой торопиться.

Он уже снова говорил на «ты» и с наглостью — частил, частил.

«Опять хочешь провести, обмануть, — подумал я и — что неожиданно оказалось до крайности трудным — повернулся спиной к тому, в дубленке. Снова близко заблестало мраморное черное надгробье. И я шагнул к нему, отчетливо сознавая, что, если только сумею удержаться и не оглянусь — исполнится; что именно «исполнится», я тогда не знал, но нечто крайне важное.

И вот я уже сижу на этом мокром надгробье, а клочок тумана, похожий на задумавшегося человека, по-прежнему касается земли, надмогильного холмика и — несмотря

на сильнейший ветер, в каждой луже поднимающий нечто вроде бури, — он недвижим.

И я понимаю: это и есть Бутов — между жизнью и смертью, как раз на середине. И он глядит мне прямо в глаза. А на коленях у меня (это уж как объяснить?) появилась толстая тетрадь в голубой клеенчатой обложке, со вложенным в нее самопишущим пером; отчасти оно оказалось и в самом деле самопишущим.

Передо мной стали разворачиваться картины, события, мысли. Иногда не совсем четко — как сквозь метель, туман, сетку мелкого дождя. И многие из них, даже почти все, возникали не из собственных моих воспоминаний — поскольку я-то сам ничего такого не испытал.

Значит — это мне внушалось?! Кем — кто знает; да и есть ли надобность знать. Главное, что это воспомина- ния жизни не моей, а Бутова. (А что, если это одно и то же: моя жизнь и жизнь Бутова?)

Я развернул тетрадь и с возможной точностью стал записы- вать внушаемое мне. «Эффект надиктованности» — есть такой термин у психиатров. Иногда картины, внуша- емые мне, становились — всегда ненадолго — зримыми, движущимися фигурками. И в одной из них я с удивле- нием, граничащим с ужасом, узнал самого себя. Я и никто другой сдаю карты в берлоге — он так сам называл свою комнату, Чернов. Я брожу с Тосей по нашему городу. Я! Я! И не знаю, что у Тоси, которая столько спасла, а называ- ли ее у нас иной раз Тося-потаскушка, — что у Тоси вместо правой ноги протез; вот отчего она хромала, а лаковые ту- фельки — так, придумано. И вместо груди тоже резиновый протез. Вот отчего она не позволяла обнять себя — при- жметса на секунду и сразу отстранится. И ведь ногу, грудь, счастье — все она потеряла, спасая таких, как я, как Бутов, Тося-потаскушка, общая ППЖ, как называл ее тот лейте- нант с красным загривком, а от него переняли другие...

С этими мыслями я раскрыл глаза; нет, очень медленно стал их приоткрывать.

(Я был и в своей комнате, в надышанном ее тепле, но и там, перед клочком тумана среди окружающей синевы, в котором мнился мне Бутов; был как бы в двух состояниях одновременно. И вот что странно, стрелки настенных часов — все: часовая, минутная, секундная, — не двигались.)

А через мгновение, когда я совсем очнулся — секундная стрелка устремилась вперед, закачался маятник, — стало половина двенадцатого и еще одна, две, три, четыре секунды; было совсем темно — значит, поздний вечер, ночь. Я перевел взгляд на стол — откидной календарь показывал десятое ноября, воскресенье; на всякий случай и чтобы окончательно удостовериться, перечитал вслух; «воскресенье» помимо воли прозвучало как «воскрешение».

Так как же оно может стать, чтобы сейчас десятое ноября, — ведь и началось все десятого ноября, и тоже в половину двенадцатого, когда я вернулся к себе после пьяного преферанса.

Я подошел к телефону и набрал номер Чернова. В трубке прозвучали редкие гудки и сразу затем:

— Чернов слушает!

— Здравствуйте! (Я с ним почему-то на «вы», а он со мной на «ты» — правда, он немножко старше, старше меня — года на четыре.)

— Лешка, черт! — Ну, уж если кто из нас черт, то все же Чернов, а не я. — Откуда? Снизу, из автомата?!

— Да нет — из дому.

— Как же ты успел добраться? Добраться и набраться, ха-ха-ха. Брось дурить и поднимайся. Чего это ты?! Налил тебе «особой» полный стаканчик, ты выпил, сразу схватился и исчез. Здорово разыграл. Здорово! Здорово!

— Когда это было?

— Да только что, четверть часа назад. Да что ты спра-

шиваешь вздор такой?

— Только что ушел? — переспросил я.

— Не ушел, а именно исчез, мы даже заметить не успели, как это... Поднимайся! Ну! Живее! Придешь?

Почему-то я взглянул на коврик над смятой постелью: там, где висел портрет Бутова — в рамочке под стеклом, — фотографии не было. Не могу объяснить, но это меня поразило больше всего.

— Какое сейчас число? — спросил я Чернова.

— Смеешься ты, что ли. Какое было, такое и есть — десятое ноября, воскресенье.

— Воскрешенье, — чувствуя невозможную тяжесть в голове, поправил я. — Вы точно скажите — воскресенье или воскрешение; воскрешенье или воскресенье. Только не торопитесь — точно чтобы! От этого все зависит. — Говорил я глухо, невнятно, с трудом.

— Ну, хлопцы, готово! У малого белая горячка, — крикнул Чернов, не мне, конечно, а чуть отдалив трубку, нашим с ним друзьям. А после — мне: — Ты в автомате у «Гастронома»? Не уходи, сейчас сбегая за тобой!

— Подождите! — так же невнятно, глухо, словно рот был набит камушками, проговорил я; подошел к постели и, став на колени, заглянул под кровать.

Разумеется, рамочка с карточкой была там.

— Лешка, стервец! Лешка! Лешка! — кричал Чернов в трубку, да так громко, что и отсюда было слышно. Помолчал, потом сказал, обращаясь, очевидно, к друзьям: «Лешка — он что же, не дозрел еще, несмотря на лета. Как огурец прямо с грядки — мокрый, с пупырышками. Однако созреет — куда ему деться».

Я снова забросил карточку под кровать, встал, подошел к телефону и спросил Чернова, который все не вешал трубки:

— Чего вам?

— Ну, наконец, — а я уж думал... Так как — придешь?

— Чего это вы насчет огурчика с грядки?!

— А ты и это разобрал? Пьян, пьян, а понятие наличествует, хе-хе-хе, — неприятно, зло, но и несколько смущенно, что ли, отозвался Чернов. — Насчет закусочки речь, вот и пришлось к слову.

Я положил трубку на рычаг. Сам себе сказал: началось в половине двенадцатого, то есть, в 23 часа 30 минут, в воскресенье десятого ноября и окончилось в 23.30 того же десятого ноября. Началось и окончилось — словно родился и умер, даже шагу не сделав. Может быть, по какой-нибудь не высшей, а самой наивысшей математике так может быть, а я и таблицу умножения знаю нетвердо.

«... Пойти, что ли, к Чернову?» — подумал я и сам себе ответил: «Почему бы и нет». Но я медлил. И вдруг мне пришла в голову идея, что каждая минута, даже не минута — секунда, миг, которые примешивают к изначальной правде подлость и ложь — превращаются в песчинку. А если ложь большая, то в огромный, под цвет пустыни песчаник. И к старости все в человеке оказывается затерянным среди мертвой пустыни, сложившейся из этих песчинок и глыб песчаника; не у каждого человека, конечно, но у многих людей.

— И у тебя? — спросил я сам себя.

— Да.

— И у Бутова?

Я не сумел ответить.

— И у Тоси?

— Нет, только не у Тоси. *От нее ведь была и будет, пока она жива, только жизнь.*

...И вот к концу срока человека окружает пустыня из песчинок, и валунов разного цвета и формы, и крошечных островков живого, зеленого. И повинен он по цвету, а главное, по сущности, разобрать все песчинки, все кам-

ни — ныне и не двинешь с места, — чтобы мертвое отделилось от живого.

Это и есть Страшный суд. В это и погружен сейчас Бутов.

Я вернулся к себе домой, так и не дойдя до Чернова. Раскрыл тетрадь в голубой обложке и стал набело переписывать то, что было в ней.

...Вот и теперь я занят этим одним, — расшифровываю заметки: биографию Александра Бутова (автобиографию?). И смысл моего труда, вероятно, один: чтобы он (именно он, а не я), второй раз пройдя через жизнь, через строй этих — Серого с темной бородавкой на щеке, покрытой черными волосками, Валового, того — «в дубленке» и его братьев, Чернова...

(Но ведь не одни же они! А профессор Р., Ира, трехлетняя Леночка, которая — помнишь? — дружила с тобой, пока не исчезла, Тося, родная Тосенька, старик в вагоне, друзья военной поры — большинство из них погибло на фронте или опочило в мирные годы, Варвара Борисовна, да и Костя, и еще, еще...)

...Чтобы, пройдя через жизнь воспоминаний, из Будтова осуществилось то, чем ему должно быть; без «Д», то есть из Бутова. А суждено ли осуществиться (несмотря на неисполнение условия, поставленного тем, в дубленке) и кем именно осуществиться! Может быть, выяснится все-таки (я предчувствую это) в конце записок, который, кажется, уже недалек.

А пока я пишу. Выйду, подышу свежим воздухом, куплю хлеба, молока — ем я мало, — и за работу: расшифровываю заметки, внесенные в неожиданную эту толстую тетрадь в голубой клеенчатой обложке — тогда, на том черном надгробии.

И ничего заслуживающего внимания со мной не происходит. Разве только то, что я становлюсь все прозрачнее; и не в фантастическом каком-либо смысле, а самым реаль-

ным образом; ну как превращается, допустим, шихта, состоящая преимущественно из песка, — в стекло.

Прозрачнее и проницаемое.

Вот сегодня сидел я, отдыхал в привокзальном сквере у памятника, а на дальний конец скамьи вскочила милая девочка лет трех (может быть, это была исчезнувшая Леночка), вскочила и прошла вдоль всей скамьи — через меня — и, ничего не заметив, соскочила с другого конца на землю. А я... Что ж я — даже не почувствовал боли, а только слабое тепло детского тела; ну и «угрелся», как выражалась Тося, и вздремнул.

И приснилось мне...

22.

...И привиделось мне, словно я снова в Т. на Новом кладбище, но теперь весна, тепло. Продолговатый холмик на могиле Бутова покрыт полевыми цветами — главным образом ромашками, посаженными, должно быть, Варварой Борисовной (если она жива). А кругом зелено, так зелено! Никакого надмогильного камня или даже просто дощечки с надписью — нет; вероятно, не только оттого, что некому позаботиться (а Костя! — сын все-таки), а так и должно быть, тем лучше, так предназначено.

На могильном холмике среди цветов стоит Бутов. (Нет, не памятник ему, а он сам во плоти, или почти во плоти. Не знаю.) Во что он одет, я не вижу, как ни напрягаю зрение, сильно ослабевшее в последнее время. Но голова и лицо вырисовываются совершенно отчетливо. Лицо такое же молодое, как было в Глухове и под Маяками, как на той карточке, что висит или висела над моей кроватью, только до муки напряженное, но и с выражением надежды; рот сжат, но губы чуть-чуть шевелятся, словно может быть так, что сейчас «отверзятся уста», как говорит Священное Писание, и польются стихи; ведь если

суждено ему воскреснуть, несмотря на неисполнение «условия», — то только поэтом, только в слове.

Кругом, в некотором отдалении, на зеленой лужайке, окружающей могилу, стоят Тося — с сияющими глазами, совершенно седая, профессор Р. — скелет, обтянутый пергаментной кожей, не тронутой тлением там, в вечной мерзлоте, — Варвара Борисовна, Ира, еще немногие, верившие в его талант, и среди них еле различимая прозрачная, призрачная фигура, в которой я с трудом узнаю себя.

А за черным крестом, шагах в тридцати от нас толпятся все они — Валовой, тот, в дубленке, с многочисленными своими братьями, Чернов и другие; множество других... Временами они пытаются приблизиться, но сразу же поднимается синий беспощадный смерч, как тогда в бараке, и отшвыривает их к деревянному забору кладбища.

А у Тоси в сияющих глазах, в помолодевшем лице, в напряженной склонившейся вперед фигуре, с руками, протянутыми к Бутову, — выражение такое, словно она последними силами тащит его из призрачности в жизнь, как тащила на шинели меня и многих других, совсем обескровленных, с поля боя; и я помог бы ей, помог бы и профессор Р., но где нам взять сил?

Профессор только говорит, шепелявит, шелестит почти беззвучно, но так, что — я чувствую это — Бутов слышит каждое слово.

— Знаешь, дорогой мой мальчик, давай в последний раз сыграем, как некогда, в эту нашу игру в слова, ты ведь ее любил. Пожалуйста — сделаем это ради меня. Помнишь, в старых словарях «самотек» — это самодвижение, самотворная деятельность, творческая, творительная сила (значит, рождение ребенка и создание стиха, — не так ли?! недаром произошло слово «стихотворение»). Самотек, самодвижение — это ветер (тот самый ветер, синий смерч, что защищает нас сейчас), ветер — самотечение воздуха. Самотеком рождается из земли ручей, подни-

маются соки растения по стеблю, вытекает из ствола хвойного дерева «самая чистая смола». Ты ведь читал словарь Даля, мы же с тобой говорили об этом — ты помнишь? Ты должен помнить! А потом это прекрасное слово превратилось в уничижительное, в «непримиримого врага» — это в словаре Ушакова; странно, конечно. Но ты, и разве ты один, мой мальчик — поверили в новое толкование (пусть и бессознательно)? И тогда иссякли ручьи, прекратилось самодвижение соков, исчезла творительная сила; именно тогда ты умер, мой мальчик. Умер в большей степени, чем я — там, в тундре. И ты воскреснешь, когда вернешься в своих стихах к этой бессознательной вечной творительной силе. Тогда из уст твоих польются слова, «как самая чистая смола».

И едва профессор Р. замолчал — выражение непосильного напряжения исчезло с твоего лица, дорогой Сашка, Александр Максимович Бутов; лицо просияло — как небо, когда ветер разгоняет тучи. И ты заговорил.

Я не могу повторить твоих стихов, скажу только, что с каждой строкой они звучали с новой силой. И ты шел с ними — движимый ими — по траве, по цветущим ромашкам, как бы склоняющимся перед тобой, а после, по твоему следу, поднимающим головку, шел к седой Гесе.

Значит, она все-таки вытащила тебя из лжи, пустоты, полуправды, небытия, как вытаскивала Гося нас из смертельного огня.

Так совершилось.

А все остальные, кто были на зеленой лужайке, охраняемые стремительным синим ветром — исчезли; исчез и профессор Р. — там, у себя, в ледяной тундре. А я стал совсем прозрачным и невидимым. У меня хватило только сил подняться, дойти до стола и записать последние строки — свидетельство о случившемся.

А сейчас, через секунду, когда свидетельство произнесено, меня не станет — я знаю это.

1981–1985 гг.

Литературно-художественное издание

Александр Шаров

**СМЕРТЬ И ВОСКРЕШЕНИЕ А. М. БУТОВА
(ПРОИСШЕСТВИЕ НА НОВОМ КЛАДБИЩЕ)**

Роман

Художник Александр Смирнов

Редактор Ольга Дунаевская

Корректор Анна Арсеньева

Дизайн и компьютерная верстка Наталья Половникова

Технический редактор Алексей Матросов

Директор издательства Р. К. Зарипова

Главный редактор издательства А. Л. Бердичевская

Подписано в печать 25.09.2013. Формат 60х90/16.

Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл.п.л. 12,75. Тираж 3000 экз. Заказ 4269

Издательство ООО «ArsisBooks»

125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 5, стр. 1В

тел.: +7(495) 785 2498, факс: +7(495) 785 2549, e-mail: arsis@inbox.ru

www.arsisbooks.ru



Издательство ARSIS BOOKS

Отпечатано с готового оригинал-макета
в ППП «Типография «Наука».

Адрес: 121099, Москва, Шубинский пер., 6



ISBN 978-5-904155-32-2



9 785904 155322